



РОК-Н-РОЛЛ

РОК-Н-РОЛЛ — ЭТО ЖИЗНЬ!

**ДЭВИД
МАКНИЛ**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

- ~ ~ ~
- ~ ~ ~
- ~ ~ ~

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

- [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
-

Дэвид Макнил
«Рок-н-ролл»



Итак, вот я сижу, единственный пассажир первого класса, в гигантской глотке самолета, вылетающего рейсом в Монреаль, где мне якобы предстоит пройти курс терапии в черт знает какой клинике. Весь прокуренный и проспиртованный, я уже довольно давно ничего не писал. Казалось, весь город начиная с семи вечера старался избегать меня, но главное, моя киска тоже понемногу отдалялась, уходила куда-то каждый вечер, причем все позже и позже. Наконец несколько дней назад после очередного путешествия по барам я в сердцах пригрозил ей, что, если она только выйдет за дверь, я сожгу все ее вещи. Она все-таки ушла. Тогда в гневе я повыбрасывал в окно все ее атласные, бархатные, кружевные штучки и, соорудив из них огромную кучу, облил скипидаром, поджег, спокойно уселся на садовой скамейке и смотрел, как полыхают три кубических метра дамских радостей, думая при этом, что вот, дескать, так и развеялись как дым — в прямом смысле слова — по крайней мере десять модных дефиле лето-осень-зима в магазине «Прентан». От костра довольно быстро стало ужасно вонять паленой свиньей, конечно, из-за замши и меховых воротников. Поскольку запах был почти как от плохо ощипанного цыпленка, как его любят жарить на Ямайке, под небом, оранжевым от пылающих костров и потому так похожим на лондонское небо, я закрыл глаза и перенесся далеко от всех своих нынешних неприятностей на маленький клочок земли на Карибах, в Портобелло, где жила Сэнди, маленькая стриптизерша с пряничного цвета кожей, с которой я провел самые прекрасные из своих тысяча и одной ночи. Она появилась на свет в Кингстоне, а вся ее семья жила в Англии, где отец

занимался ремонтом автомобилей, причем деталями на замену он запасался, снимая их по ночам с других машин в Ист-Энде, на другом конце города. Мы в двадцатером забивались в просторные стойла бывшей конюшни, которая никому не была нужна, потому что эти антильские конюшни наводили ужас на англичан, явно предпочитавших коттеджи в Брикстоне. Затем благодаря фотоаграфам и антикварам Портобелло сделался довольно-таки модным местечком — там вновь понемногу стали появляться люди, все отремонтировали, и цены взлетели до небес. Все устаканилось: черные и метисы уехали в Брикстон, где по двадцать человек набились в английские коттеджи, отчего те пришли в полный упадок, и ни у кого не было средств их содержать. Там без труда можно было снять небольшой домик, а если повезет, то вместе с двором. На этих нескольких квадратных метрах между кирпичной стеной и изгородью, под старым виадуком надземного метро, помещались все наши мотоциклы, шины и всякие железяки. В ожидании «равноценной замены» мы заимствовали автомобильные кресла от «ягуаров» или «американок», сиденья от «воксхоллов», самые продавленные, но в то же время и самые удобные, затем на сорок пять оборотов запускали проигрыватель, старый аппарат, который через трансформатор можно было подключить к прикуривателю. И танцевали под одуряющие басы мелодий блю-бит, которые впоследствии подарят свои синкопы музыке в стиле регги. Пили странный пунш и курили бог знает что. За неимением маракасов^[1] трясли огромными тыквами, купленными на итальянском рынке возле моста. Двоюродные братья Сэнди прокаливали своих птичек на разрезанных надвое канистрах из-под бензина. Цыплята это или голуби, пойманные прямо на крыше, узнать было невозможно, но пахло

отвратительно, так что я ел только рис по-креольски и красную фасоль, пряча жареную тушку под капустный лист. Когда все отправлялись спать, ошалевшие от странного пунша и выкуренного «бог знает что», я тушил костер и тоже засыпал с пятью футами шестью дюймами гладкой и нежной лакрицы, свернувшейся калачиком в моих руках, и слыша, как шуршат первые автобусы.

Пошел дождь, и от моего сдобренного скипидаром костра внезапно повалил густой дым. О том, чтобы потушить огонь, и речи не было: куча была еще в целый метр высотой. Никакой угрозы окружающим! Но глупые — или завидующие моему саду — соседи пожаловались. Сначала вежливо, затем, не получив ответа, вызвали полицию, и это резко вывело меня из оцепенения. Тогда я сказал:

— Все в порядке, это я сосиски жарю!

— Огонь слишком большой, чтобы жарить сосиски!

Я ответил, желая приободрить сам себя:

— Это очень большие сосиски...

Ответ не понравился. Ворота вышибли, костер загасили, полив пламя водой из шланга. Люди кричали: «Заберите его!», а я спрятался в подвале, решив дождаться, пока все успокоятся. Несмотря на туман, обволакивающий мои мысли, я вспомнил, что имею некоторые навыки маскировки, которые приобрел на слете скаутов в Бельгии, где мы постигали в походных условиях, как «видеть, оставаясь невидимым». И вот я решил применить свои познания на практике: замаскировался в лохмотьях, селитре и паутине так, что меня никто не смог найти. Я сидел довольно долго среди сложенных в штабеля поленьев, потом какой-то пожарный, которому просто повезло больше, чем другим, случайно наступил на меня. Так меня обнаружили, схватили, угомонили, напялили смирительную рубашку и отволокли в Сент-Анн, а

может, в Шарантон, трудно сказать. Все эти заведения очень похожи, я столько их повидал и государственных, и частных, включенных в систему социального страхования, которые лечат буйнопомешанных с большим вниманием, чем учреждения, лопающиеся от пожертвований. Есть среди них чистенькие, есть грязные, но более приятные для пребывания. Хорошо бы однажды кто-нибудь составил справочник, эдакий «Мишлен» психиатрических больниц, путеводитель по клиникам, энциклопедию «Брокгауз и Ефрон» сумасшедших домов, чтобы сравнить обслуживание, свежесть лития, правильность дозировок, равновесие между психотропными средствами и нейрорепарантами, оценить полицейских в штатском, обеспечивающих порядок, качество ремней и обивки, квалификацию, дипломы и психоанализ их психоаналитиков. Потом можно было бы присудить золотую звездочку приличным заведениям, две — выдающимся, и очень редко три, это уж исключительный случай, достойный упоминания на первой полосе «Геральд трибьюн», ведь сумасшедших гораздо больше, чем гурманов, и это потенциальная клиентура, которой пренебрегать не стоит.

Крепко привязанный к кровати, я слышал, как мой адвокат пытается договориться о моем освобождении, убеждая, что запрет сжигать одежду, даже если она не совсем ваша, довольно странен. Он предложил приличный взнос в пользу пожарных, республиканских гвардейцев, Общества анонимных алкоголиков и падших женщин Монмартра и наконец выторговал мне амнистию в обмен на обещание пройти курс дезинтоксикации. Из списка одобренных центров можно было выбрать место покаяния. Они имелись повсюду, чаще в таких городах, как Южин или Дортмунд, чем в подобных Портофино. Я согласился, надеясь, что это поможет вернуть мою красавицу. Мы с адвокатом

принялись искать подходящую клинику. В одном журнале мы прочли, что какой-то тип, достаточно известный в мирке парижских пьяниц, отправился в Швейцарию, чтобы лечиться там от «этого». Полный успех, обновление, возрождение. Тот человек поведал о своем пройденном пути в книге, написанной частично оттого, что автор был окрылен удачей, частично в порыве прозелитизма, в общем, вполне симпатично. Успех был таким, что сам автор искренне удивился. Но пьяница, который напивается с самого утра, чувствует себя существом жалким и несчастным и потому, как и псих, тоже является потенциальным клиентом. Главное — сцапать его вовремя, в полдень будет уже поздно: он вновь отправится обходить бары. Перспектива провести весь ноябрь где-то в Швейцарии меня, по правде сказать, изрядно пугала. Это сулило смертельную скуку, а скука, в свою очередь, предвещала неизбежные посещения винных погребов кантона. Надо было срочно найти что-нибудь другое. И тогда один приятель рассказал мне о ком-то, у кого имелись схожие проблемы и он справился с ними благодаря удачному лечению в одном монреальском центре. Рассказывали, что этой канадской клиникой руководил доктор Клоссон, раскаявшийся пьяница, ставший впоследствии мировым светилом в области избавления от нарко- и алкогольной зависимости. Меньше чем за шесть недель можно было стереть тридцать лет близкого знакомства с винными бочками, от стаканчика розового по утрам до вечернего ликера, от гаме Димея до макона^[2] Превера, от мятных ликеров в барах Гинсбурга до бурбонов «Old Blue Eyes».^[3] Я специально не упоминаю Нугаро, Блондена, Чемпиона Джека и Боди Лапуэнта^[4] из опасения, что, когда я стану переправляться через реку Стикс, мне придется угощать за свой счет очень много народу, начиная, чего доброго, с самого Ноя.

Эта клиника применяет в работе так называемый метод «Миннесота». Вот уже двадцать лет как они превращают суккубов в мадонн, дьяволов в серафимов, вытаскивают всех этих лишних людей, отверженных, отчаявшихся, мечтающих выбраться из дыры, пока она не засосала их окончательно. Пускай будет доктор Клоссон, можно попытаться и без киски, и без угроз, и без пожарных. Если у других получается выбраться, почему бы и мне не попробовать. Если мне не нравится Швейцария в ноябре, то Миннесота приводит меня в ужас в любое время года. Единственные уроженцы этого штата, снискавшие милость в моих глазах, это Боб Дилан и Джессика Ланж. Предел мечтаний — спать со второй из них, слушая первого. Эта знаменитая методика, по-моему, ничего такого собой не представляет, но если уж ехать, так ехать подальше: если верить книжке того самого известного пьяницы, в заведении, где он лечился, забирают ваши деньги и кредитные карты. Но Швейцария близко, и, если припрет, можно вернуться домой, украв велосипед или, в крайнем случае, добравшись пешком. А Америка у черта на рогах, там океан, а просто ли украсть корабль и пересечь Атлантику — это еще большой вопрос. Иногда люди такое проделывают. Они возвращаются заросшие, измученные, ступая на пристань, получают огромную бутылку шампанского. Ну это ладно, после того, что им довелось пережить, не такая уж большая плата.

Когда мой адвокат выяснил, где расположен филиал этой клиники в Париже, я отправился туда, чувствуя, однако, некоторое недоверие. Я опасался, не применяют ли они до сих пор электрошок или лоботомию. Контора находилась в огромном здании на Елисейских Полях, названия на почтовых ящиках указано не было, только звонок со специальной эмблемой. В прихожей никого. Я открыл дверь

приемной и уселся там, сверив часы со временем, указанным в моей записной книжке. После почти часового ожидания и нескольких романов в фотографиях, рассказывающих о жизненных драмах, произошедших в результате алкоголизма, меня пригласили в кабинет, занятый, явно незаконно, маленьким человечком, который сам только что пришел. Скинув плащ, он уселся, даже не поздоровавшись со мной, протянул какую-то брошюрку, подписал бумажку, затем поднялся, надел плащ и проводил меня до дверей со словами: «Двести тридцать пять долларов». Почему двести тридцать пять, а не какая-нибудь круглая цифра? Наверное, чтобы солидней выглядело. Позже я узнаю, что все служащие — врачи, ассистенты, санитары, медсестры, которые работают в Центре, — это бывшие зависимые. Кто от алкоголя, как и доктор Клоссон, кто от амфетаминов, к которым, как я подозреваю, до сих пор равнодушен мой приятель в плаще. Прекрасная мысль — нанять на службу таких людей, они, так сказать, в теме. Но должен признать, что не виси дамоклов меч так низко, я бы удрал отсюда со всех ног. Выйдя на Елисейские Поля, я взглянул на брошюрку. Клиника выглядела вполне пристойно. Впрочем, не стоит слишком доверять этим книжкам, где все всегда выглядит пристойно. В Монреале они расположены на Шербруке, это аорта города, его позвоночный столб. У меня там есть друзья, и, если посещения запрещены, я хоть буду знать, что в округе имеются люди, которые меня любят. И потом, моя родная бабушка Джорджиана Рюэль родилась неподалеку оттуда, на озере Этшемин, на ферме, что на границе с Соединенными Штатами. В конце концов, для меня вернуться в Квебек — на четверть возвратиться домой.



Хорошенькая стюардесса предложила мне бокал шампанского «Дом Периньон», но я больше не пью после того, как пообещал пожарным прекратить свои глупости. И вот уже несколько дней я принимаю капсулы, пилюли, кучу всяких лекарств из тех, от которых заболеешь, достаточно лишь прочесть надпись на этикетке. Но чертовка настаивает, наверное, она откупорила бутылку специально для меня. Прядка светлых волос выбилась из шиньона, который авиационное начальство предписывает носить женской части летного состава, если волосы спускаются ниже третьего шейного позвонка. Она знает, что мне это нравится, а еще она знает, что я пытаюсь угадать изгибы ее тела под складками униформы. У нее маленькая грудь, и девушка немного злоупотребляет своей мальчишеской внешностью, которая заводит многих мужчин куда больше, чем все эти толстушки, пышечки, кубышки, грудастые и пышнозадые тушки, столь дорогие сердцу Пикрохола,^[5] чем толстомясые пловчихи из Малибу и красотки с силиконовыми излишествами на пляжах Ипанемы, которые там всегда прогуливаются, но далеки от идеалов Карлоса Жобима.^[6]

Опоясанный ремнем, удобно устроившись в кресле из синей искусственной кожи, я получил положенный мне плед, носочки, подушку, затычки в уши, меню обеда и открыл брошюрку доктора Клоссона. Моя стюардесса, хотя я, должно быть, налетал не меньше часов, чем она, обязана тем не менее ознакомить меня с правилами полета, продемонстрировать аварийные выходы, кислородную маску, оранжевый спасательный жилет с веревочками, за которые можно дернуть, только если

окажешься в воде. Она изображает все это очень ловко в сопровождении синтетического голоса. Артистка, играющая пьесу для пустого зала, она прекрасно справляется с ролью. Голова чуть наклонена вперед, смотрит прямо на меня, но игриво отводит глаза, стоит только взглянуть на нее. Закончив дежурную демонстрацию, она ловко сворачивает принадлежности и убирает их в багажный отсек, затем возвращается к исполнению своих обязанностей. До меня наконец доходит, что, раз в данном летательном аппарате откупорили бутылку, ее необходимо допить: здесь нет раковины, и вообще, на борту ничего не приспособлено для того, чтобы избавляться от недопитой жидкости. Если такой редкий и дорогой напиток вылить в унитаз, это может вызвать бунт в эконом-классе. Ведь они имеют право лишь на дешевую шипучку, да и то в случае опоздания самолета более чем на десять часов, или поломки двигателя, или какой-нибудь забастовки, в общем, чего-то не зависящего от них. Я не решаюсь больше отказываться, это было бы невежливо, и говорю себе, что, в конце концов, от одного бокальчика ничего плохого не случится. Но как только я выпиваю, чертовка наливает мне второй, затем третий, и вот я уже парю в облаках. Десять дней как я не испытывал этого блаженства, которое убаюкивает пьяниц, танцоров, кружащихся в венских вальсах, и вертящихся дервишей.

Но вдруг внезапно во всем самолете вспыхивают неоновые огни, все останавливается: двигатели, нагнетатели воздуха, музыка. Широко распахивается боковая дверца — сквозняк. Шумно подкатывает трап, и голос командира корабля сообщает в микрофон, что должны сесть еще пассажиры, в том числе шестьдесят восемь первого класса. Это участники норвежского семинара «Спасем популяцию оленей карибу». Поскольку я попал сюда благодаря накопленным на

кредитной карте очкам, теперь я должен освободить свое кресло. Меня вежливо отсылают назад, но свободных мест нет. Я оказываюсь на откидном сиденье, на которое обычно садится стюард во время маневрирования самолета и воздушных ям, а стюард отправляется в кабину пилота на место, предназначенное для механика. Этой должности давно уже не существует. Не то чтобы механик на борту не нужен, просто все стало настолько сложно, что никто ничего не понимает, и тогда решили: «Надо сократить эту должность». Бывшие механики в конце концов остались безработными, хотя им и предлагали перевод на новую работу в другом отделении той же компании. В самом деле, проще простого: раньше чинил моторы «боинга», теперь — газонокосилки. Они не согласились, главным образом из-за зарплаты, которая, разумеется, стала несколько меньше. Зато теперь они получили возможность каждый вечер возвращаться домой, а семейная жизнь бесценна. Пилоты в знак солидарности тоже решили обидеться. Им предложили взять или расчет, или командование каким-нибудь «Фоккер френдшип» в дочернем отделении компании «Авиалинии Замбии». Недовольных страховых агентов заменили более покладистые, которые согласились инспектировать самолеты в Минске или в Макао. Теперь все летают, даже не зная, то ли в самолете не хватает какой-нибудь детали, то ли есть лишние, хвост «Туполева» насажен на кабину «боинга», пилоты летают, страховщики страхуют, путешественники путешествуют, и все довольны.

Вот уже десять минут я сижу лицом к пассажирам, и это очень неприятно. Стюардесса меня утешает. Я, разумеется, пользуюсь всеми преимуществами, предусмотренными для пассажиров первого класса, но это очень неудобное место. Двести тридцать человек, которым решительно нечем заняться, пялятся на меня.

Надо постоянно следить за лицом, сохранять самообладание, чтобы не выглядеть смешно в такой ситуации, надо быть Джоном Уэйном или Гэри Купером.

[7] Выбор, прямо скажем, невелик: ноги скрещены — руки опущены, руки скрещены — ноги вытянуты. Я достаю из кармана блокнот на пружинке и начинаю писать. Люди, которые что-то пишут, не интересны никому, кроме их литературных агентов и скучающих призраков авторов, заглядывающих вам через плечо, чтобы посмотреть, чего это там такое пишут. Главное, не мешайте им, пускай. И не надо жульничать, выдумывать какие-нибудь стенографические значки и волапюк: они умеют читать на всех языках, даже на зашифрованном иврите.

Наконец двигатели начинают работать на полную мощность, самолет катится, все катится и катится, отрывается от земли, все приходит в равновесие, дежурные лампы гаснут, опять включается неоновый свет, пассажиры суетятся, делают вид, что засыпают, ругаются со своими детишками, обо мне понемногу забывают. Я убираю записную книжку, но через час моему покою опять приходит конец: настало время обеда. По проходу катят тележки с подносами, вновь появляется бутылка шампанского, я вновь отказываюсь, стюард улыбается.

— Месье летит в первом классе, — настаивает он и оставляет на откидном столике бокал.

К чему протестовать? Я подношу к губам фужер тонкого стекла, в то время как другие давятся кислятиной в уродливых картонных стаканчиках. У них прозрачные кружочки салями, розовые от избытка красителя, растекшийся мутный желатин вокруг сероватого, с комками, галантина, который нужно намазывать на тосты из размороженного батона. У меня — баночка севрюжьего паштета, блинчики, горячие,

прямо из микроволновки. Они своими тупыми ножницами пытаются раскромсать целлофановую пленку, чтобы добраться до тоненького кусочка телятины с бесцветным и вязким салатом, непонятно из чего сделанным, но купленным явно по дешевке во время позавчерашней промежуточной посадки. Зато у меня богатый выбор: филе омара или куриное филе по-цыгански, салат из морепродуктов и тонкие сыры от Поля Лесэнтра. Одно за другим появляются марочные вина. Стоит стакану опустеть — он тут же наполняется вновь. Экипажу так стыдно, что меня выставили из первого класса, что я получаю все в двойном количестве: еду, вино, тончайший коньяк «Наполеон», не говоря уже об улыбках, которые мне расточают, ругаясь с остальными пассажирами отсека. Забитый под завязку салон не сводит с меня глаз. Впервые в жизни меня ненавидят всем самолетом.

Я ненадолго засыпаю, но стюард будит всех, раздавая бланки канадской таможни, которые мы должны заполнить, перед тем как выйти из самолета. Поскольку я англичанин, то и паспорт у меня на английском, надо только все офранцузить, никуда не денешься. Даты написаны цифрами, адрес парижский. Но как заполнить добрый десяток других граф на языке Картье? Документы у меня старые, еще с тех времен, когда я был folk singer. Я же не могу перевести «популярный певец», это внесет путаницу, как-то претенциозно звучит в переводе. В кресле напротив меня какой-то джазмен тоже пребывает в недоумении. Я ему советую написать «жасист», но он относится к этому как-то скептически. Я настаиваю, что это получится вполне корректно: о происхождении слова столько всего говорят, версии самые фантастические. Я объясняю ему, что это искаженное региональное слово «жас», которое означало цинковую ванну, где вымачивалась ткань при окрашивании, и что однажды

рабы, лишённые музыкальных инструментов, воткнули в одну из них ручку от швабры, на которую натянули железную проволоку. Когда ее пощипывали, она звучала как струна настоящего контрабаса. Вот так и родилась музыка «жас». А люди с Бурбон-стрит слово немножко изменили на английский манер, и получилось «джаз», вот и все. Похоже, «жасист» не слишком мне поверил. Ну и ладно, пускай себе катится, куда хочет.

— Поднимите откидные столики и приведите спинки кресел в вертикальное положение.

Сейчас самолет приземлится. Вот теперь-то, говорю я себе, я и успокоюсь. Как бы не так! Люди про меня забыли, чего нельзя сказать про лекарства, которые тут-то и начали действовать. Мне совсем худо, я поднимаюсь, чтобы отправиться в туалет. Главный стюард начинает вопить в свой микрофон, что нужно оставаться на месте, но я все равно иду, иначе, говорю я ему, меня вырвет прямо на пол. Но все напрасно. Он колотит в дверь и грозит позвать командира корабля, а тот в этот момент занят: он как раз сажает три сотни тонн дребезжащего железа на узенькую полосу покоробленного цемента. Делать ему нечего, как только идти разбираться с типом, который в нарушение правил направляется в сортир. Но я все-таки счел за лучшее остаться на месте до полной остановки моторов. Когда я открыл глаза, два парня из конной полиции нарисовались по обе стороны раздвижной двери. Они сняли свои смешные шляпы, но их красных курток с перевязью вполне достаточно, чтобы все остались сидеть в самолете. Я только один раз видел униформу конной полиции, если не считать приключенческих фильмов, которыми я увлекался в десятилетнем возрасте. Это был портье «Салона бешеной лошади» на авеню Георга V, где по сцене разгуливают обнаженные со знанием дела создания. С тех пор как хозяин пустил себе пулю в лоб из-за какой-

то надувной куклы, туристы-ковбои уступили место крестным отцам из Одессы. Там по-прежнему можно увидеть канадского конного полицейского, но, вообще-то говоря, им следовало бы заменить его каким-нибудь донским казаком.

Главный стюард, обиженный из-за того, что его начальник никак на него не отреагировал, решил предупредить полицию. Тонот решительным, но вежливым они обратились ко мне. А я, как дурак, — но винить в этом следует не меня, а высшего сорта коньяки, вино и шампанское — стал интересоваться, не было ли у них проблем с парковкой лошадей.

— Месье, попрошу следовать за нами. Вы не соблюдаете правил поведения на борту, которым должны подчиняться все пассажиры воздушных линий, представителями которых мы являемся.

И они высаживают меня из самолета. Должен сказать, довольно деликатно. Меня препроводили в офис: квадратный куб матового стекла, расположенный в глубине терминала, между отвратительным хлевом, который служит у них карантинным помещением, и конторой, куда приносят потерянные пассажирами вещи и которую только неисправимый оптимист мог назвать «Бюро находок». Когда я объясняю им про свой недуг, про лекарства и напитки, от которых я тщетно пытался отказаться, они меня просто не слушают. Ничего не поделаешь: тест на алкоголь и протокол. Какой-то невозмутимый тип долго печатает рапорт пальцами, затянутыми в перчатки. Закончив, он вытаскивает лист бумаги из «ремингтона», на котором, должно быть, еще Джек Лондон печатал своего «Белого клыка». Мое поведение заслуживает месяца тюрьмы. Они могут оставить меня здесь, пока судья не вынесет постановление о моей дальнейшей судьбе. Сейчас у нас суббота, он на рыбалке, и мне предстоит провести довольно неприятный уик-энд.

К счастью, Чарли Вуд, мой квебекский приятель, сумел разделаться с делами и приехать за мной, одолжив пикап «чероки» у своей жены, которой эта идея совершенно не понравилась. У него не слишком много времени, чтобы ездить подбирать приехавших в июле приятелей: это очень занятой человек, он колесит по стране взад-вперед и почти каждый вечер где-нибудь поет. В Квебеке хорошая погода держится недолго. Каких-нибудь три месяца — и снова зима, разве что дней десять потепления в период бабьего лета. В конце октября уже холодно. Приходится пользоваться каждой минутой, которую дал господь. Кафе выносятся на тротуары, в каждом крошечном городишке — свой фестиваль, по улицам фланируют музыканты и клоуны, все мужчины счастливы, все девицы — красавицы. В воскресенье Шарль выступает в Труа-Ривьер, в понедельник он в Сен-Жане, где по меньшей мере сто тысяч человек отправляются в парк. Я такое сам видел, это впечатляет. После Сен-Жана он в Торонто, потом в Шикутими, затем в Манитобе. Для какого-нибудь европейца это целое приключение. А для американца проехать три сотни километров, чтобы поздороваться с приятелем, выпить с ним по-быстрому стаканчик и вернуться — самое обычное дело. У нас, когда кто-нибудь поет в субботу в Пантене,^[8] а в воскресенье пятью километрами дальше, на площади Пигаль, он может рассчитывать, что на следующий день в печати появится его фотография: герой в сопровождении эскорта полицейских. И сенсационный заголовок: «Марафон Элвиса Дюбулона, известного эстрадного певца».

Чарли замечает меня в холле между двух «красных курток». Он направляется к нам, весьма обеспокоенный: у него привычки порядочного гражданина, и он всегда опасается худшего. Но он гораздо известнее, чем волк

из «Белого клыка». Представьте себе Элвиса, разумеется настоящего, а не по фамилии Дюбулон, который отправляется в Мемфис за приятелем, арестованным воздушной полицией. Мои полицейские недоверчиво пялятся на него, как будто это снежный человек, который входит в свою берлогу. А ведь это солидные парни, а не какие-нибудь фанатки-простушки. Но Чарли у нас местное достояние наряду с Феликсом Леклерком, Ла Болдюк и Марией Шапделен,^[9] впрочем, он этим явно гордится. Конечно, будешь тут гордиться! Если бы я был местным достоянием хотя бы только Дортмунда или Южина, моя голова тоже задевала бы дверную перекладину, которую, надеюсь, моя красавица уже успела отремонтировать. Один из сотрудников аэропорта посылает какую-то мелкую сошку забрать мой чемодан на конвейерной ленте, на которой тот крутится уже три четверти часа. К счастью, здесь они не такие дотошные, как в аэропорту Шарля де Голля, наши пиротехники давным-давно бы его уже подорвали. Передо мной извиняются от имени компании, представительница агентства вручает мне целую канистру кленового сиропа, и вот я отправляюсь, волоча свой чемодан, а в придачу еще и пакет из дьюти-фри, в котором везу из Парижа бутылку «Мерсо» для своих сегодняшних гостей. Я проклинаяю эти кислоты, которые опять набрасываются на мои кишки и начинают их стругать, как рубанок. Сразу после таможни, пока Чарли отправляется за машиной, я кидаюсь в бар и заказываю «Мольсон», безвкусное слабое пиво, из тех, что нужно выпить целый ящик, чтобы увидеть, как порозовеет хвостик слоненка, такое здесь выражение. «Ни капли алкоголя» написано на всех коробочках с моими лекарствами, но я полагаю — и совершенно напрасно, — что один-два бокала мне даже будет полезно. Я выпиваю второй. Мне надо продержаться до

приезда в домик на озере, где нам предстоит провести ночь. Когда мой роскошный шофер подбирает меня по пути на своем «чероки», я кое-как поднимаю чемодан на колесиках и запихиваю его в багажник. Мы покидаем аэропорт и выезжаем на автостраду. Час пути — целая вечность. Я держусь за живот, стараясь по возможности выглядеть здоровым: очень не хочется вместо загородного домика отправиться напрямик к доктору Клоссону. Я закрываю глаза, меня лихорадит, я весь мокрый от пота. Это гораздо хуже, чем приступ малярии, такое я тоже видел в своих приключенческих фильмах.



Крутя руль, Чарли рассказывает мне какие-то истории, наверное, они очень смешные, но я ничего не слышу, я считаю километры, подстерегаю каждый дорожный указатель. По прошествии четверти века мы на полпути к цели, критическая точка пройдена, значит, возвращаться обратно слишком поздно. Тут я ему признаюсь, что больше не могу и что одна-две бутылки пива помогли бы мне утихомирить мышьяк, который разъедает внутренности. Мой бессердечный приятель хочет ехать дальше, наверное, жена уже заждалась. Стюард и конная полиция и так заставили нас потерять целый час, и Чарли просит меня продержаться, пока мы не съедем с автострады. Но я клянчу, умоляю, на четвереньках, на коленях, угрожаю, что выпрыгну на ходу из машины, если он не остановится. Наконец его сердце смягчается, и мы, слава богу, тормозим. Свернув с автострады, мы пересекаем паркинг и ставим нашу машину в коммерческой зоне перед сооружением, которое в Испании называют «бодега». Это круглый двухэтажный домик из черных брикетов, над входом подмигивает трехцветная неоновая вывеска «Отдых путника». Дверь открыта — в разгаре туристический сезон, — и вдоль крупных магистралей нет черных прожорливых мошек, которые летом терзают Квебек, квебекского лета не бывает без черных мошек. Местечко довольно мрачное, все настенные светильники включены, хотя сейчас яркий день, Долли Партон что-то мяукает из колонок, хорошо что вполголоса. За стойкой бетонного бара, заляпанного донышками бутылок, здоровенный напомаженный детина с узенькими усами, похожий на старого итальянского клоуна Тото. Он старательно делает вид,

что в упор нас не видит, а сам исподтишка посматривает в зеркало, при этом не переставая протирать стакан. Четыре девицы в юбчонках, взгромоздившись на край бильярдного стола, пытаются изобразить, будто умеют играть. Улыбаясь, они поворачиваются ко вновь пришедшим. Полностью игнорируя блондина, который выглядит такой развалиной, что, ясное дело, и полдоллара не потратит на расстегивание блузки, они тут же переключаются на его курчавого приятеля, который тут, оказывается, большая звезда что для полиции аэропорта, что для этой северной дороги. Две девицы отделяются от компании и устраиваются рядом с нами, жеманясь и манерничая, они просят Тото остановить песню в стиле кантри и поставить какую-нибудь песню моего приятеля. У Тото ее в наличии нет. Как удачно! Чарли терпеть не может себя слушать. Он говорит, что тогда ему кажется, будто он работает. Он вежливо благодарит и добавляет:

— Пускай Долли Партон, девчонки: когда находишься в пути, эта музыка как раз то, что надо.

Я нахожу, что неплохо бы заказать выпить, но девицы наше предложение отвергают: Чарли слишком хорошо известен, чтобы размениваться и терять время на выпивку. Несколько лет назад, просто развлечения ради, он запустил на орбиту небольшой такой пивоваренный заводик, где стал производить несколько сортов пива, среди которых «Бланш де Шамбли», взяв за образец одно светлое пиво родом из Брюгге. В Квебеке все бары и рестораны давно включили его в свои карты, так что, вполне естественно, мой приятель в простоте душевной спрашивает бармена: «У вас „Бланш“ есть?» Тот плохо понимает, взмахом руки прогоняет девиц, которые по-быстрому ретируются доигрывать свою партию, выключает музыку, поднимает телефонную трубку и вызывает бог знает

кого, своего хозяина, наверное. Он, дурак, думает, что нам нужен героин.^[10] Вид у меня и в самом деле неважный, наверняка я похож на наркомана под ломкой. Я делаю певцу знак, мол, лучше было бы смыться отсюда, а тот не понимает, что он такого плохого сказал. Иногда он, и вправду, бывает очень наивен, что, впрочем, составляет большую часть его обаяния. Я хватаю его за руку и быстро шепчу прямо в лицо: «Идем, я тебе все объясню». Мы быстро влезаем в машину, пока сюда не нагрянула местная мафия, и вот мы уже отправились в путь, не успев как следует приехать. Когда до Чарли доходит ситуация, он взбешен, что его приняли за наркомана, пополняющего свои запасы, его просто бесит, что за музыкантами закрепился такой неприятный образ. Я понимаю, почему это выводит его из себя, хотя справедливости ради стоит сказать, что очень многие из них с удовольствием поддерживают эти скандальные легенды.

Мы покидаем парковку, девицы, повиснув на подоконнике, машут нам из окна, одна из них задирает юбку и демонстрирует трусики в знак прощания. Почти возле самой двери останавливается огромный грузовик, они быстренько приводят себя в порядок, «Мадонна из Нашвилла» что-то мурлычет под сурдинку. Я вновь начинаю просить, умолять, угрожаю выброситься из машины на полном ходу, сделать стойку на руках на крыше автомобиля. Чарли, страшно недовольный, все же позволяет себя уговорить, отыскивая местечко поспокойнее. Тогда мы опять подъезжаем к коммерческой зоне, разглядывая вывески в поисках чего-нибудь подходящего, чего-нибудь скромненького и приличного. Мимо проплывают вывески одна соблазнительней другой: «У мисс Берлинго, леденцы любви», «Шалунья Полли», «Ринг Помпадур,

соревнования по американской борьбе в грязи», «Кошечки для развлечения». Служанки родом из Скандинавии работают топless, отсутствие силикона гарантируется. Прямо глаз не на чем остановить. Наконец мы обнаруживаем нечто вполне благопристойное: «Святой Юбер барбекю», припарковываемся и усаживаемся за столик на террасе. Здесь мы заказываем большие полулитровые кружки из мягкого целлулоида, наполненные пивом без пузырьков. Когда такой стаканчик сжимаешь — половина выплескивается, так что, чтобы действительно выпить целую порцию, приходится брать две. На какое-то время ожоги успокаиваются, и мы можем продолжить путь, ведущий напрямик в Морин-Хейт, деревушку, где находится домик Вуда. Он обещает мне, что, как только мы приедем, он откроет две бутылки своего фирменного «Бланша» и мы усядемся в саду, если, конечно, там не будет черных мошек. Потом сможем покататься на лодке, у них есть красная лодка, настоящее индейское каноэ. А когда солнце начнет садиться, на большом «Плейеле»^[11] палисандрового дерева мы будем играть что-нибудь традиционное: Коул Портера или Синатру. Мы очень любим Синатру. Потом у бассейна станем жарить свиные ребрышки от Вайянкура. Это бакалейная лавка вроде сельпо, которая торгует, когда уже все магазины закрыты. Купить здесь можно все, что угодно: от шкурок нутрии до эскимосских шапочек, а также кур, таких жирных, что, когда их помещают в духовку, они обильно плавятся и остается несчастный тщедушный цыпленок. В общем, нам предстояло провести восхитительный вечер.

Я не слишком-то спешу приступать к своей так называемой стажировке. Но Чарли, который является моим поручителем у доктора Клоссона, не может завтра

опаздывать в Труа-Ривьер: люди с самой зимы забронировали там места, купили билеты, наняли молодых людей, которым доверено эти билеты рвать, взяли напрокат униформу в костюмерном отделе «Радио Канада». Это такие куртки с обшитыми шнуром петлицами, какие когда-то носили дежурные по арене в цирке «Медрано». Я бы предпочел отправиться туда вместе с ним, тем более что все говорят, будто девушки в Труа-Ривьер очень гостеприимны, ну, может, не такие, как квебекские. Ни одна девушка в мире не может сравниться по гостеприимству с квебекской. Мне почему-то показалось, хотя, возможно, я и ошибаюсь, что меня не слишком горят желанием приглашать в подобную экспедицию. Из-за конной полиции, «Отдыха путника» и прочих бодег, которые я не премину навестить по дороге. Конечно, мы боимся, что за кулисами я не буду выпускать из рук бутылку, что буду падать на лестницах, которые ведут в артистические уборные; запускать свои потные ручонки под юбки хористкам; наору на пожарных, чтобы отомстить тем, из-за которых, собственно, я здесь и оказался; что выскочу на сцену между двух песен, схвачу микрофон и запою «Sixteen tons». Когда меня прогонят за кулисы со стороны сада, вернусь со стороны двора, чтобы закончить свою песню, а в конце концов меня свяжут стражи порядка и я буду лежать, привязанный к кровати, в каком-нибудь местном Шарантоне.

Я знаю, что завтра напрасно стану протестовать, обещать воздержание, клясться головами всех, кто мне дорог. На этот раз я вполне созрел для Центра. «Бирибилис-Шербрук», «Кайенн-ан-Мон-Руаяль», «Сен-Сен-сюр-Сен-Лоран», какая разница, как может называться это местечко! Там меня ждут, думаю, уже приготовили кровать, поставили на умывальник новый кувшин, на стул розового дерева положили махровые тапочки с вышитым названием клиники. Кроме этого

стула из мебели там только ночной столик, на котором меня уже уверенно ждет Библия. Так что хочешь не хочешь, придется мне туда отправляться. Ну что ж, тем хуже для Труа-Ривьер и его санитарок. По крайней мере, так мне удастся избежать смирительной рубашки и кровати какой-нибудь провинциальной психушки. И кстати сказать, петь «Sixteen tons» я вообще-то не умею.

Мы подъезжаем к дому, стоящему среди деревьев. Это деревянный фахверковый дом с покатой крышей, одно большое окно выходит на озеро Эко, очаровательное озерцо с темной спокойной водой, если не считать водоворотов вокруг запруд, построенных бобрами. Кроме их построек, никаких других не видно. Место и в самом деле уединенное. Всякие птицы и дикие животные производят странные звуки, никаких водных видов спорта и моторных катеров, только лодки, утки, плот, с которого ловят спиннингом *crapets-soleil*. Этих отвратительных костистых рыбешек едят, пожалуй, одни вьетнамцы. Никаких автомобильных шин, как везде, никаких велосипедных рам. Как-то я наведывался сюда январским утром. Тогда озера как будто и не существовало: все было покрыто льдом и снегом. Я даже не представлял себе, как здесь может быть красиво летом. Блондиночка моего приятеля поджидает нас с холодным чаем и тонкими блинами с черникой. Блондиночками здесь вообще называют любовниц, так что бывают блондиночки, которые брюнетки, и блондиночки рыжие. Логически рассуждая, могут быть и лысые. Но если Лола и является брюнеткой, оставаясь при этом его блондиночкой, лысой ее, во всяком случае, назвать нельзя, тут мы с Чарли солидарны. Я открываю свою флягу кленового сиропа, а бутылку «Мерсо» прячу в боковой карман чемодана: что-то не похоже, чтобы здесь предложили пиво, как было обещано. И точно. Когда я, захваченный

новым приступом тошноты, все-таки намекаю, мне отказывают. Чарли слабо настаивает, а я бегу в ванную, где чуть не отдаю богу душу.

— Уведи его! — кричит Лола. — Быстрее! Не хватало еще, чтобы он у меня в доме умер!

Фраза жестокая, означает фактически следующее: «Пусть идет подышать куда-нибудь в другое место». Когда через перегородку я слышу, что речь идет о том, чтобы вызвать «скорую», то выпрыгиваю из окна ванной, хватаю свой багаж, оставшийся при входе, и бегу по дороге, огибающей озеро. Я пробегаю мимо домов на берегу. В одном из них погибла дюжина членов секты «Храм солнца», некое дьявольское семейство, в котором объединились поразительно легковверные адепты. Они устраивали здесь шабаши, окружая все это дело декорациями, которые не испугали бы и двухлетнего ребенка. Однажды компания в полном составе принесла себя в жертву огню, и, если я не ошибаюсь, из всей этой дьявольской банды остался только какой-то бывший дирижер из Монтре, который с тех самых пор упорно молчал.

Все это наводит на меня страх. Я иду вперед, волоча свой чемодан на колесиках по густому лесу. Начинаю идти все быстрее и быстрее, затем пускаюсь рысцой и наконец бегу, как Бастер Китон, когда за ним гонятся копы в короткометражках. Потом я говорю себе, что, если бы передо мной неожиданно выскочил тот дирижер, глоток «Мерсо» придал бы мне смелости. Оказавшись достаточно далеко на случай неожиданного нападения, я открываю бутылку с помощью указательного пальца, который медленно просовываю в горлышко. Струя брызжет во все стороны, рубашка промокла — такую цену приходится платить за утешение себя самого, тем более заслуженного, что из чащи до меня доносятся странные звуки. Я готовлюсь к худшему: размахиваю бутылкой, чемодан поднял к

груди вроде щита, а это оказался огромный медведь, роющийся в мусорном бачке. Он тоже меня видит, но на меня ему плевать: он нашел все, что ему нужно. Зачем возиться с каким-то туристом, от которого пахнет холодным потом и красным вином? Наверное, я уже прошел километр или два, когда Чарли нагнал меня на своем «ситроене» с мотором «мазерати». Лола нас выпроваживает, оставив фургончик. Я опустошаю бутылку, швыряю ее в сторону медведя, она подкатывается прямо к его лапам, он втягивает носом запах и отфыркивается, затем добродушно отпихивает лапой и возвращается к мешочкам из самоуничтожающегося пластика. Прощай, озеро Эко, прогулка на лодке, рыбки *crapets-soleil*, свиные ребрышки от Вайянкура, но заодно прощайте и черные мушки, эти мерзкие маленькие твари, которые сжирают рыбака меньше чем за полчаса и способны испортить ваше лето, как не знаю что. Прощай, Морин-Хейт, здравствуй, Монреаль.



По приезде в город Чарли предлагает мне комнату для друзей в своем доме, но, поскольку это мой последний вечер на свободе, мне хочется все-таки немного пошляться. Они живут выше Трафальгарского бульвара, в спальном районе, довольно далеко от центра. Такси здесь не поймашь: у всех есть машины, причем самые красивые — у бэби-ситтеров. Мне хотелось бы остановиться в «Королеве Елизавете», это на Дорчестере^[12] — так переименовали бульвар Рене-Левек в честь защитника Квебека, — но мест нет, как, впрочем, всегда летом, потому что отель является частью маршрута Джона Леннона. Это своего рода паломничество. Желающие могут отправиться из «Стробиери филд» в Дакота-билдинг^[13] через Ливерпуль, Гамбург и Монреаль, где Джон с Йоко устроили bed-in, чтобы привлечь внимание к войне во Вьетнаме. Мой приятель высаживает меня возле гостиницы «Четыре времени года», где наличествуют свободные номера, позже он заедет за мной, и мы поужинаем вместе. В незапамятные времена я был счастлив в этом роскошном отеле, я даже поселился в тех же самых апартаментах, по правде сказать, слишком больших для меня, но сегодня вечером что-то я слишком расчувствовался. Обстановка не слишком изменилась: все тот же стиль Людовика XV, к которому, правда, приложили руку краснодеревщики из Сен-Жерома. Все квебекские краснодеревщики приезжают из Сен-Жерома, так уверяет Режан Дюшарм, еще один друг Чарли. Разумеется, его «первый» лучший друг. Я, стало быть, «второй». Приехав к каким-нибудь приятелям на обед, Чарли может посмотреть на сад и заявить, к примеру, следующее: «Это второй по красоте

сад, который мне когда-либо приходилось видеть...» Обед оказывается безнадежно испорчен, и весь день пригласившие его люди мучаются, какой же сад «первый».

Я оставляю свои вещи, машинально достаю ноутбук: мне нужно подумать о том, как написать автобиографию, которую доктор Клоссон требует от всех вновь прибывших. Здесь, похоже, очень любят всякого рода регистрационные карточки и формуляры. Нет, это я сделаю позже, сейчас я слишком устал. Первым делом обследую бар — миниатюрная бутылка водки. Вулкан чуть успокаивается. Включаю телевизор — специальный выпуск: умер Риопель.^[14] Некоторое время скачу голый, пытаюсь принять душ. Бесполезно. Ну не умею я укрощать эти гостиничные смесители: всегда либо кипяток, либо лед, среднего почему-то не получается. Обычно я сдаюсь быстро и, как сегодня, решаю дальше не воевать, а принять ванну. Пока ванна наполняется, я читаю все, что попадает под руку: список коктейлей, которые предлагают в холле, меню гриль-бара, советы на случай возникновения пожара, расписание катеров-подкидышей в казино на острове Нотр-Дам. Попав на страницу с международными кодами, я решаю позвонить в Париж. У меня дома никого. Водки в мини-баре тоже больше нет, приходится довольствоваться джином.

Чарли звонит от консьержа. Ладно, черт с ней, с ванной, приму позже. Он уже внизу и хочет поужинать со мной быстренько в небольшой закуской прямо за отелем, так что сегодня мы сможем лечь спать пораньше, чтобы завтра он до своего отъезда успел обустроить меня в Центре. Похоже, он очень спешит избавиться от такого ярма на шее, как я, но меня-то ужин на скорую руку не устраивает совершенно. Моему желудку уже лучше, появился аппетит, я с

удовольствием поел бы копченого мяса или маиса — люблю эти початки, открытые Колумбом, — да и хорошего вина неплохо бы выпить. Я предлагаю поехать в «Симон», или нет, лучше в чайнатаун поестъ dim sum.^[15] Чарли сопротивляется, ведь ему прекрасно известно, что после ужина мне захочется завалиться в бар, в сауну, побыть немного молодым человеком, флиртующим с барышнями. Мой друг слишком известен, чтобы участвовать в подобного рода эскападах — завтра же в прессе появятся его фотографии, и вовсе не в честь того, что он предпринял поездку из Пантена в Пигаль в окружении эскорта полицейских на мотоциклах. Я клянусь, что мы просто поедим dim sum или чего-нибудь, что он там сам захочет, выпьем всего-то графинчик sake. Какие там японочки? И речи нет ни о каких японочках, массажистках, танцовщицах! Он заставляет меня поклясться, я, разумеется, клянусь, но на всякий случай быстренько скрещиваю за спиной пальцы. Он хочет переодеться: на нем все та же куртка, что на озере, вельветовые штаны и ботинки «хатчинсон». Чарли — мужчина элегантный, он даже представить себе не может, чтобы появиться в городе, одетым «как крестьянин» — это чисто квебекское выражение, означающее «хуже, чем простой мужик». Мы едем по Монреалю в направлении Трафальгара, по-моему, чересчур быстро, «мазерати» ревет на Снежном хребте. Эта дорога ведет к городскому дому Чарли. Мотор и так слишком разогрет, а мой приятель, несмотря на все мои предостережения, все жмет и жмет на газ. Знаю я эти машины, они слишком хрупкие. Сейчас самый разгар лета, несмотря на вечер, температура воздуха не меньше тридцати, центральная сигнальная лампочка посреди руля уже всю мигала, когда мы минут десять назад проезжали мимо «музея смеха», логова Розона,

нашего общего знакомого, который хранит у себя сокровища: шляпу Трене и тросточку Чаплина. Через какое-то время лампочка уже не мигает, а горит постоянно, ведь все полетит к чертовой матери: и головка цилиндра, и рычаги! Я пытаюсь вразумить Чарли, говорю, что нужно добавить немного воды в радиатор.

— Какой радиатор? И потом, где я, по-твоему, сейчас воды найду, — отвечает он. — Посмотри на дома — окна везде темные, все в отпусках или отправились в город на концерт Стана Геца.^[16] До моего дома двести метров, дотянем, ничего не случится...

Через десять секунд все взрывается грязным облаком маслянистого пара.

Мы оставляем «мазерати» грустно стоять на обочине, сами берем машину Виктора, его старшего сына, который, наверное, ужинает где-то в городе, а может, тоже отправился слушать Стана. Что касается нас, мы туда не собираемся, мы любим музыку этого саксофониста, но после фестиваля Антибы — Жуан-ле-Пен определенно сделались снобами: любим, когда играют только для нас одних. Я приехал на Лазурный берег с Тутсом Тилеманом,^[17] моим брюссельским приятелем, который оказал мне честь появиться на диске, а Чарли, со своей стороны, прибыл туда повидать Геца. Поскольку оба они стояли в афише вместе с Эль Жарро,^[18] мы, в ожидании их очереди, пропустили по стаканчику в холле отеля. Там было полно народу, конечно, в основном музыканты, но еще много очень хорошеньких женщин. Первые приставали ко вторым, которые, собственно, за этим сюда и явились. Через какое-то время у них руки зачесались что-то сыграть. Тогда Стан достал свой саксофон-тенор, Тутс — гармонику. Контрабасист, скучавший в углу, только этого и ждал. Чарли сел на место ударника

«домашнего» оркестра, и, должен сказать, с делом он справился совсем неплохо. У него дома, в подвале, имеется материал, достойный Бэби Додса.^[19] Так мы провели ночь, играя «жас», а когда Стан отправился заниматься тем, что он называл своей «рутиной», кто-то его тут же заменил, потом уступив ему место обратно по первому же требованию. Тутс сыграл «Blusette», Гец — «Desafinado». У всех музыкантов, у всех групп и певцов-солистов имеется свой крест, который им положено нести. Для приятеля Чарли Вуда это «Lindberg».

Мы направляемся в сторону чайнатауна. Я даю обещание держаться хорошо, вести себя как истинный джентльмен, выпить не больше одного графинчика саке и послушно вернуться к себе в отель, не сделав попытки удариться во все тяжкие. Въезд в этот город в городе весьма впечатляет. Огромные ворота, покрытые блестящей киноварью, высеченные наверняка из искусственного мрамора, а затем отлитые в цементе, потому что здесь зимой часто стоят трескучие морозы. Массивные стойки расписаны золотыми драконами, символами императорского Китая. Под крышей в форме пагоды доброжелательно улыбаются многоцветные будды, повсюду разбросаны какие-то несуразные фигурки, цветки лотоса, смеющиеся маски. Все это грандиозно и слишком вычурно, по правде сказать, нелепо и одновременно как-то тревожно. Как только вы пересекаете этот свод, вы покидаете Запад. Вас словно резко выбрасывает в другой мир. Если в Париже или Лондоне по мере приближения к китайскому кварталу неоновые вывески меняются постепенно, довольно долго идеограммы еще перемешаны с латинскими буквами, как будто для того, чтобы посетитель исподволь привыкал к другому освещению, к другим краскам и запахам, то в Монреале, напротив,

погружение происходит резко и внезапно. В одно мгновение вместо американской улицы с ее магазинами и прохожими в шортах вы оказываетесь в китайском квартале, где, кажется, даже голуби что-то замышляют среди всеобщей суматохи и смятения, мы ищем Фу Ман Чу, это весьма забавно для того, кто очутился здесь впервые.

Наконец мы находим заведение, в котором почти все столики заняты азиатами. Это скорее хороший признак: другие рестораны стоят полупустые, а по всей улице прохожих подстерегают поставленные возле дверей зазывалы. Таких ловушек следует остерегаться. Входим. Нельзя сказать, чтобы нас встретили приветливо. Официанту в национальном костюме, который поначалу кривит губы, мы заказываем сперва «tsin Тао», чтобы утолить жажду, — есть ли у них пиво «Бланш», мы не осмелились спросить. А потом всего понемногу: креветки в остром соусе и китайскую лапшу, dim sum, разумеется, с клейким рисом, а еще графинчик sake. Чарли интересуется, нет ли у них случайно scrapet-soleil, той самой колючей рыбки, которая ловится у него в озере. Официант высокомерно извиняется, дескать, это типично китайский ресторан, вьетнамской кухни здесь не держат. Он удаляется, нахмурившись пуще прежнего, должно быть, учился в Париже. Мы приступаем к ужину, болтаем о чем угодно, только не о моем предстоящем лечении. Я очень благодарен Чарли за его тактичность: нет ничего хуже, чем разговаривать о лечении, а потом, стараясь остаться трезвым, то и дело повторять, что надо «держаться удар». Тогда возникает непреодолимое желание наполнить бассейн до краев красным вином и нырнуть туда, раскинув руки.

Все блюда просто великолепны, sake тоже, мой друг каждый глоток сопровождает многозначительным «гм!», выдающим в нем знатока. Мы обсуждаем кушанья, отмечая изысканный вкус имбиря в одном,

кориандра в другом. Брюзгливый официант старается держаться поближе к нам и невозмутимо слушает наши комментарии. Он возвращается на кухню и вскоре выносит оттуда небольшую тарелку жареных почек, каковую с восхищенным видом ставит перед нами. Поскольку этот жест исходит от типа, который до сих пор даже не пытался скрыть свою неприязнь, я делаю вывод, что, очевидно, он принимает нас за редакторов какой-нибудь местной газетки, благодарю его полупольщенно, полускептически, но у своего приятеля встревоженно замечаю едва заметную складочку над носом, что означает живейшую досаду. Вокруг внезапно воцаряется тишина, даже на кухне перестают греметь посудой и приборами. Я совершенно не понимаю, почему в зале вдруг установилась такая тягостная атмосфера. Потом резким движением палочек мой друг подхватывает кусок из тарелки, проглатывает его, оставаясь при этом невозмутимым — для него это вопрос чести. Все начинают аплодировать. Чарли встает и раскланивается — сработал профессиональный рефлекс, о котором он сразу же пожалел. Как только посетители вновь начинают нормально разговаривать, он объясняет мне, что в Квебеке не едят никаких субпродуктов и эти люди в каком-то смысле бросили нам вызов, после чего поднимается с места и какое-то время отсутствует. Я быстренько решаю воспользоваться моментом и заказываю еще одну бутылочку sake. Он возвращается, выпивает свой стакан, история с почками изрядно его повеселила. Он наливает себе новую порцию — наживка проглочена, уже по его предложению мы заказываем еще. После четырех графинов он созрел, я в этом нисколько не сомневаюсь, для того, чтобы прошвырнуться по улочкам, достойным Шанхая, я их не знаю, но читал «Тин-тин и голубой лотос». Не слишком красиво с моей стороны было так напоить его, тем более что завтра

ему выступать, а на сцене он себя не щадит; но при мысли, что мне-то самому придется провести пять недель в обществе белых халатов, я нахожу себе тысячу извинений, и потом, Чарли сегодня вечером явно намерен развлекаться, главное, чтобы нас не застукали папарацци. Вообще-то в Квебеке не очень много охотников за скандальными снимками, а те немногочисленные особи, что все-таки трудятся на этом поприще, торчат на приставных лесенках перед домом Селин Дион, подстерегая момент, когда ее можно будет запечатлеть голой в ванной. Похоже, кое-кому из них это даже удалось, только вот никто не захотел покупать эти фотографии. Чарли обеспокоенно говорит мне, что если его щелкнут в китайском квартале в каком-нибудь подозрительном казино или подпольном притоне, то считай, что он влип по-крупному. На ходу он пессимистично рисует мне последствия: одна вспышка — и он на первой странице какого-нибудь английского таблоида, весь перемазанный румянами и губной помадой, с налитыми кровью глазами — последствия злоупотребления рисовой водкой, — томно развалившийся на пуфике рядом с очаровательной китаянкой в юбочке с разрезом по неприличное место и с немыслимым декольте на бюсте невероятного размера, хотя вроде бы настоящем. Журнальчик выходит огромным тиражом, большим, чем когда освещал визит принца Чарльза. Разражается такой скандал, что Лола его бросает. Ее поддерживают две трети населения, которые больше не покупают его дисков и даже выбрасывают старые. Публика его бойкотирует. У него меньше выходов, чем у Элвиса Дюбулона, когда он еще крутился в домах молодежи и лиги адвентистов седьмого-с-половиной дня. Грузовикам, которые развозят его светлое пиво, прокалывают шины. На площади Конституции разбивают тысячи бутылок — первое антиалкогольное

аутодафе после мрачной эпохи сухого закона. Никто не хочет чинить его «мазерати», который так и остается гнить там, на авеню Трафальгар. Отовсюду — из Галифакса, из Гаспре, из самого Ньюфаундленда — стекаются люди, чтобы плюнуть в него или бросить камень. Окна и двери его городского дома заделывают кирпичами, песчаником, цементными блоками. Два его сына, Виктор и Жером, вынуждены каждый взять себе псевдоним: Жером решает отныне именоваться Виктором, а Виктор выбирает имя Жером. Несчастливым мальчикам приходится ночевать вне дома, то есть они вынуждены отправляться к девицам. Потом какая-то вьетнамская секта, символом которой является маленькая колючая рыбка, обосновывается в красивом доме в Морин-Хейт, покинутом Лолой, которая уехала жить, неблагодарная, куда-то в Амальфи^[20] с Гаспардо Луисом де Рубирозой, двоюродным братом лыжника. Чарли вынужден бежать, отправиться в Калифорнию к Полнареву, известному скандальному фоторепортеру. Он продает свои негативы в один шаловливый журнальчик, устраивающий опрос среди читателей на тему: «Который из двух более кучерявый». Полнарев побеждает, что для Чарли означает безработицу и полный крах, протянутый бумажный стаканчик «люди-добрые-помогите-чем-можете» и сбор пустых бутылок в мусорных бачках по ночам. Жизнь он кончает в полном одиночестве, в сквере Вижер — это местная Калькутта. Он спит, завернувшись в куски брезента, дерется с другими бомжами за корку хлеба, пока однажды какая-то собачонка, бегущая на поводке перед хозяином, не писает на его ногу, торчащую из картонной коробки. Это привлекает внимание владельца пса. Чарли уже не двигается, он уже твердый и холодный. Таков конец легенды. И все это из-за какого-то часа, проведенного в

сомнительном притоне китайского квартала, куда его насильно затащил один приятель, запойный пьяница.

Мы обшариваем тупики и подворотни в поисках хоть какого-нибудь захудалого бара с гейшами, но все напрасно. Я останавливаюсь повсюду, во всех лавочках и барах-караоке, спрашиваю, не знают ли они местечка, где два приличных господина могли бы за стаканчиком вина расстегнуть парочку-другую кимоно. Внезапно Чарли сердится, что бывает с ним очень редко. По правде сказать, я помню только один такой случай. Тогда на концерте в Олимпии какой-то придурок бросил на сцену зажженную сигарету. Она попала прямо в волосы, которые на тот момент были очень пышными, что-то вроде шевелюры Анджели Дэвис. Они сразу же вспыхнули, режиссер ринулся их тушить. Чарли решил, что на него напали, вскочил и запустил ударной установкой в зал, где она и грохнулась прямо посреди публики: там-тамы, большой барабан, цимбалы — короче, трое раненых. Сегодня вечером совсем другое дело. А именно: «К черту чайнатаун! Плевать мне на гейш! Не хочу подохнуть в картонной коробке в сквере Вижер и чтобы шавка на поводке написала мне на ногу! Я возвращаюсь к себе домой, а тебя отвожу в гостиницу».

Мы забираем на стоянке машину и быстро едем назад, за всю дорогу не проронив ни слова. Действительно ли он разозлился, сказать трудно, но ясно одно: сегодня я заработал ярлык приятеля, с которым никуда нельзя выйти. Машина останавливается перед моими «Четырьмя временами года». Бурчим друг другу «спокойной ночи», и Чарли отправляется домой. Я ничего не сказал про Риопеля, это было с моей стороны трусостью, но я и в самом деле испугался, что это может испортить вечер, Чарли ужасно загрустит, я тоже буду не веселее, и мы станем похожи на двух квакеров в трауре. Он любил этого

славного парня, правда, это не относилось к его картинам, которые Чарли никогда бы не повесил у себя дома. Но если бы мы ценили своих друзей только за их творчество, то приятелей из артистической среды у нас не было бы вовсе. Он совсем недавно был у Риопеля на его Гусином острове, названном так, потому что весной гуси по пути из Виргинии останавливаются там передохнуть, перед тем как отправиться дальше на север. Все то время, пока Чарли там был, старик ни разу не поднялся со своего стула: он был в очень плохом состоянии и больше не работал, безразличный к людям, безразличный к гусям, которых, однако, было так много, что их разрешалось отстреливать по двадцать штук в день.

Я слоняюсь по холлу. Из лифтов выходят мужчины во фраках и женщины в длинных платьях, наверное, в одной из гостиных бал. Если бы у меня был смокинг, я бы тоже туда отправился — люблю чопорные балы. А завтра начинается прозак, с китайками на какое-то время будет покончено. Мне следовало бы остаться там и продолжить одному. Я думаю, что начать курс дезинтоксикации — это почти то же самое, что уйти в монастырь, и этот шаг требует если не уважения, то хотя бы понимания. Даже монахи Шаолиня имеют право на прощальный загул, прежде чем произнесут свои окончательные клятвы. У меня нет никакого желания подниматься к себе в комнату, хотя к завтрашнему дню я должен написать для клиники автобиографию. С другой стороны, что делать в городе, где, похоже, для холостяков ничего не предусмотрено? Придется остаться дома или же надо знать места, которые посещают любители ночной жизни, причем отнюдь не те, что вам посоветуют швейцары роскошных отелей, — это ловушки для стариков. А я, голова садовая, хочу попасть исключительно в ловушку для молодых.

Я оказываюсь в баре отеля, который украшен неудачным гобеленом Люрса. Впрочем, гобелены Люрса как правило неудачные. Вот однажды в Рубе, в забавном музее, устроенном внутри бывшего бассейна, я увидел два ковра Пабло Пикассо. Так это совсем другое дело — сразу возникало желание походить по стенам. На антресольном этаже моих «Четырех времен года» расположена гостиная. Там пальмы, довольно неожиданные для этого региона, окружают мебель работы, как мне кажется, Кнолля, все строго и удобно. Я почти уверен, что высокий табурет, на который я взгромоздился, обтянут какой-то дрянью, но, возможно, я просто сплю, может быть, это sake или остатки лекарств сыграли со мной злую шутку. Однако ощущение жжения в животе наконец пропало. Читая информацию о дозировке на коробке, я увидел, что эффект уменьшается через двенадцать часов. Если сложить полет и аэропорты, северную автостраду, возвращение в город, поломку машины и наши скитания, так оно и выйдет. Значит, я могу еще выпить, не опасаясь появления конной полиции. Невозмутимый бармен занимается своими подсчетами у кассы. Огромный негр с длинными, как корни, пальцами играет «Round Midnight», болтая при этом с официанткой. Аккорды Монка^[21] такие сложные, что я спрашиваю себя, как ему это удастся. На высоких круглых табуретах восседают пожилые дамы, одетые дорого и безвкусно, с нитками жемчуга и «ролексами». Наверняка живут тут на полном пансионе и топят свою скуку в затейливых коктейлях: за долгую жизнь им до смерти надоели все эти «вдовы клико» и «дом периньоны». Я тоже скучаю, и, должно быть, это ясно видно. Грызая орешки, я заказываю у бармена один «мольсон» за другим, не думая ни о чем, наслаждаясь музыкой, которая кружит мне голову, хотя я слушаю ее

в стотысячный раз. «Round Midnight» — это крест гостиничных пианистов. В какой-то момент я здороваюсь с одной из этих золотых бабушек, коль скоро она первая мне улыбнулась. Она вежливо отвечает, предлагает мне сигарету.

— Чем вы занимаетесь? — интересуется она.

На подобного рода вопросы, которые любят задавать дантисты, соседи по сауне или попутчики в самолете, я всегда отвечаю что попало. Иногда мне случается быть таксидермистом из Бенгалии или продавцом рахат-лукума из Дубаи. Вот только офицером армии Эритреи я назваться не решился ни разу. Я больше никогда не говорю, что писатель, потому что иначе каждый раз приходится уточнять жанр и толщину книжек, которые я пишу. Рассказывать такие истории в сотый раз уже изрядно надоедает, тем более не так уж я и уважаю дам, скучающих вечерами в барах роскошных отелей, чего нельзя сказать про моих вероятных читателей, иначе и вправду придется продавать рахат-лукум в Дубаи бенгальским таксидермистам.

— Я пилот гражданской авиации, то есть бывший пилот, сейчас я инструктор в Минске...

— Пилот гражданской авиации! Как это романтично! Вы, наверное, очень одиноки, вам часто приходится покидать своих родных, вы иногда нуждаетесь, как бы это лучше выразить, в утешении. Кстати, в этом и состоит моя профессия, месье, я умею утешать мужчин...

Я чуть не падаю со стула: да ей же лет сто десять, не меньше! На голове белобрысые кудельки, наштукатурена без всякой меры, как дамы ее возраста в Нью-Джерси, если им случается выиграть в лотерею и телекомпания Си-эн-эн приезжает к ним домой снять для вечерних новостей. Я уже представляю, как оно все будет дальше, как она, напевая, выходит из ванной

комнаты, затянутая в атласный пурпурно-фиолетовый корсет, и бросается на постель с воплем: «Возьмите меня!» Тут мой проектор заело, пленка вспыхивает, я плачу за свой «мольсон» и убегаю, побив рекорд Эмиля Затопека по карабканию на небоскреб через несколько ступенек без помощи рук. Эта женщина уродлива, как старые жабы, которые ловят клиентов на особо отведенных авеню в Нью-Йорке. Почему все эти всемирно известные заведения терпят таких старых и страшных шлюх, между тем как на Бродвее любой мотель за пятьдесят долларов предложит вам параметры, достойные Энджи Дикинсон в фильме «Рио-Браво», — это остается загадкой. Похоже, клиенты дорогих отелей невольно ищут маму, когда находятся в путешествии. Наверное, им страшно внезапно оказаться одним в незнакомом городе. Стресс, который испытываешь в Монреале, почти один к одному похож на стресс в Женеве, разве что минус фондю плюс путин. Это простое народное блюдо, которое составило славу Швейцарии задолго до того, как стало фамилией русского президента: большая миска жареного картофеля, куски толщиной в палец, посыпанные тертым сыром и политые густым соусом барбекю. В его поисках Чарли готов целый час ехать на машине, если ему приспичит. Я-то нет, но то, что мы пробовали в «Шато Мадрид», этой убогой забегаловке на автостраде Квебек — Монреаль, — это просто шедевр, им можно присудить, если, конечно, эта награда по-прежнему присуждается, «Почетную вилку», путин-эквивалент нашей золотой воронки для психиатрических лечебниц.



Как вынесу я эти пять недель жизни рядом с психами и падшими ангелами? Буду заперт в этом гулаге на Шербруке, один, без приятелей. Я надеялся, что, несмотря на лето, по крайней мере хоть кто-нибудь останется в городе. Но все разъехались. В Бенгалию или в Лондон, Вену или Портофино. Чарли и Лола отправились к Северному полюсу ловить лосося. А большинства людей, наоборот приехавших на фестиваль смеха, я сам избегаю, будучи в Париже. Есть, конечно, Виктор, старший сын Чарли, но Виктор работает. Летом он занимается тем, что возит всех этих весельчаков, этих актеров stand-up, [\[22\]](#) к Розону. Ему очень нравится носиться по городу в открытом автомобиле, когда ветер раздувает волосы, особенно если люди, которых он таскает за собой, окружены, как это всегда бывает, хорошенькими особами. Я боюсь не выдержать, сбежать, спрятаться на месяц в «Пусси-кэт лоунж», с официантками из Скандинавии, топless гарантирован. Но я слишком давно не работал в три смены, должно быть, у меня перигорская печень, да и свои запасы нейронов я давным-давно уже израсходовал. Я с трудом слежу за перипетиями баварских сериалов вроде «Деррика», этими самодовольными мыльными операми с выцветшим от старости изображением, которые бесконечно гоняют по каналам с низким рейтингом, где все тебе заранее разжевано, где хорошие парни ездят на немецких машинах, а плохие носятся, естественно, на иностранных.

Спать мне совершенно не хочется — слишком много выпил sake, еще и «мольсона», добавьте сюда переход на другое время, в общем, я продолжаю слоняться по

отелю. Наверное, в моей ванной уже завелись пингвины, ведь воду я открыл часа два назад. Из минибара я достаю все, что в нем еще осталось, а осталось там не много. Ни джина, ни виски, водку я тоже уже выпил вечером. Я отвинчиваю крышку какой-то бутылочки: это ликер «Шартрез», вязкий и слишком приторный, прямо сироп от кашля. Я мог бы, конечно, вызвать дежурного по этажу, чтобы он снова зарядил мне бар, но совершенно не хочется, чтобы притащился какой-нибудь заспанный грум. До завтра мне нужно написать этот небольшой текст, который требует Центр, приложив к нему две фотографии и заверенный чек. Я боялся, что они велют предоставить что-нибудь вроде исповеди, но нет, то, что они желают знать по поводу нашей зависимости, это не «почему», а «как». По крайней мере, на данном этапе. Ведь они прекрасно понимают, что, если будут слишком давить, клиент может и взбеситься. Вначале нам предстоит на двух страницах поведать про самый первый раз, когда мы попробовали алкоголь. Это может быть обыкновенная шоколадная конфета с ликером. Все равно желательно про это вспомнить. Какое-нибудь вполне благопристойное Рождество в кругу семьи, когда взрослые развлекаются тем, что позволяют детям допить остатки вина из своих стаканов, может вполне стать первопричиной, как все то, что незаметно укореняется в нашем подсознании. После чего следует указать этапы, так сказать, разметить вехи, как развивалась наша привычка: от невинных бутылочек пива, распитых с приятелями на праздник, до замызганных фляжек в карманах пальто; от дружеских вечеринок до глотка перед утренним кофе. В общем, поведать нужно про каждый стакан, от первого до последнего, который выпьешь, закрывая лавочку. Все это очень далеко. Как трудно отвечать! И если многие пьют для того, чтобы забыться, еще больше людей

пьют, чтобы забыть, что они пьют. О своем первом стакане я ничего не помню. Все, что я могу сказать, так это то, что начал я очень рано, в Англии. Мне безумно нравилось бывать в пабах. Там все было новым и необычным: потолки, затянутые коричневой гофрированной бумагой, деревянные обшивки стен, бархатные диванчики, типы с красными физиономиями, которые метали стрелки, зажав в кулаках pale ale,^[23] перевернутые стаканы, надетые на специальные ножки, и эти ежедневно начищаемые до блеска латунные перекладины, куда посетители клали ноги, как в вестернах. Мне нравилось, когда без пяти одиннадцать владелец заведения звонил в свой колокольчик и оповещал: «Господа, последние заказы!», и тогда все бросались покупать сразу по нескольку стаканов, которые расставляли на столах из страха, а вдруг потом не хватит, в итоге выпивая в десять раз больше, чем если бы пивная обслуживала посетителей на полчаса дольше. Это вынужденное ограничение якобы должно было последовательно снизить уровень алкоголизма в стране Джона Булла,^[24] этого напыщенного индюка с манерными бачками, который литрами глушил бренди и которого они сами же выбрали своим символом. Сегодня с этим покончено, я больше не езжу в Лондон: там слишком много англичан, почти столько же, сколько в Ардеше или в Перигоре.^[25]

Когда мне было шестнадцать лет, вошло в моду пить а-ля «Ланкастер браун», крепкий, почти черный портер, который посасывали пижонистые мальчики, первые рокеры, с прическами как у Пресли, безумные, как Эдди Кокран и Джин Винсент,^[26] а еще Томми Стил,^[27] наименее известный из них четырех, но который вечером в субботу устраивал настоящий ад в «Two I's», крошечном заведении на Олд-Комптон-стрит. Эта кофейня, ставшая с тех пор легендарной, была такой

маленькой, что его слушали снаружи, сидя на крыльях автомобилей или оперевшись спиной на витрины магазинчиков. Народ стоял до самой площади Пикадилли. Я и мои приятели хотели быть похожими на этих типов, потому что вокруг них всегда вились стайки девиц, юных бесстыдных созданий с лошадиными хвостиками и в коротких брючках, таких узких, что в карман нельзя было втиснуть носовой платок. Даже зимой на них были надеты только облегающие пуловеры и ничего сверху, только «распашонки», что-то вроде верхней части футболки, разрезанной в местах, где топорщились соски, специально чтобы приводить в бешенство этих господ в котелках из аристократического Уэст-Энда. А мы любили джинсы и белые футболки, как у Джеймса Дина в «Ярости жить», мы полировали волосы с помощью геля, начесывая их коком низко надо лбом, и днями напролет рассматривали себя в стеклах, витринах и зеркалах заднего вида, прицепив расческу к поясу своих «леви стросов», любимой тогдашней модели джинсов команды мотоциклистов «Ангелы ада», которые летали по городу на своих «харлей-дэвидсонах». Дэвидсон, Леви, Строс — эти наводящие на всех ужас ксенофобы с нацистскими значками не умели читать этикетки. Ковбойские сапоги стоили безумных денег, поэтому мы надевали остроносые ботинки с резинками, по возможности белыми или из синей искусственной замши. И верх великолепия — эти знаменитые «blue suede shoes», синие замшевые ботинки, воспетые Карлом Перкинсом,^[28] которые бог знает почему моя мать называла обувью алжирцев.

Как легко было флиртовать с нашими девчонками в подворотнях, или под навесами строительных лесов, или на империале омнибуса, куда другие пассажиры вслед за нами подниматься не решались. И если девицы

часто клали на свои мордашки слишком много тонального крема, пудры и вызывающе ярко подводили глаза, то губной помады не было совсем, она бы все равно долго не продержалась, потому что мы целовались на каждом углу. Когда вечером мы приглашали их в кино, они, чтобы доставить нам удовольствие, надевали юбки, зная, что нам захочется погладить их между ног. А если они изредка просили, чтобы их любили, то, не особенно ломаясь, позволяли, чтобы им немножко заплатили. В те времена платили только профессионалкам или замужним женщинам. Некоторые «взрослые» тоже были не против, но только не с нами, так что нам приходилось приводить этих слегка вульгарных девиц в наши крошечные меблированные комнатки в мансарде. Это было не так-то просто: квартирные хозяйки бдели у дверей дома. Но поскольку они, так же как и мы, торчали в пабах до самого закрытия и возвращались пьяными, то нам всегда удавалось их одурачить. Если в постели наших малышей мы находили очаровательными, несмотря на вульгарность (впрочем, возможно, именно благодаря этому), то пройтись с ними по улице среди бела дня — это совсем другое дело. Мы старались сделать крюк, назначали свидания во всяких захолустных местечках и безлюдных кафе. Это было непорядочно, даже в какой-то степени подло, но что поделать, стремительно надвигалась эпоха, когда следовало выбирать: «Битлз» или «Роллинг стоунз». В те времена принято было делать выбор в пользу «Роллинг стоунз».

Зато те, кто мог бы стать предметом нашей гордости, если удавалось прогуляться с ними по улице, почти всегда оказывались студентками, элегантными француженками, иногда итальянками, которые изучали английский язык в Южном Кенсингтоне, в шикарных школах. Эти красавицы, как правило почему-то блондинки, презирали молодых людей, которые

таскались по пабам, так что мы были вынуждены переходить с «Ланкастера брауна» на «Оранж пеко», а вместо кожаной куртки надевать спортивную, не меняя при этом состояния души. В кинозалах на Оксфорд-стрит они предпочитали смотреть фильмы Бергмана и Антониони, а если шли в кино в юбках, не было и речи о том, чтобы просто положить им руку на колено, даже через твид. Никаких поцелуев в первый вечер, в лучшем случае через неделю, и боже упаси в общественных местах. Затем наступала стадия чаепитий в киноклубах, и не раньше чем через месяц они, так уж и быть, позволяли себя немного приручить. Они никогда не шли к вам домой, это вы должны были приходиться к ним, в квартиру на площади Слоан, которую они снимали на пару с подружкой, никогда далеко не удалявшейся, пока вы находились там. После часа невинных объятий мы наконец достаивались права расстегнуть лифчик. Попытка пойти чуть дальше грозила все испортить. Судя по всему, любовью они соглашались заниматься только в брачную ночь, медленно, в полной темноте, с закрытыми глазами. Право, трудно было оставаться каменными, весь вечер лаская формы Боттичелли. Так что как только всходила полная луна, оборотень под любым предлогом скидывал свой блейзер, сломя голову неся переодеваться и врывался в супермаркет, где работала одна из этих плутовок, с которыми он, негодяй, привык предаваться распутству, и увлакивал ее, даже не оставив времени снять передник. Она была так сексуальна, что в автобусе, который их вез, он с трудом мог сдерживаться, он пожирал ее глазами, буквально буравя ей кожу, а его арсенал типичного рокера выглядел столь внушительно, что никто не решался комментировать его поведение. Добравшись почти бегом до дому, он изо всех сил пинал ногой, обутой в знаменитые замшевые ботинки, все по очереди мусорные бачки, так что они начинали раскачиваться,

издавая противный металлический визг. Спрятавшись вдвоем за какой-нибудь машиной — причем руки их уже вовсю занимались исследованиями, — они дожидались, пока хозяйка выйдет, чтобы привести в порядок баки, и, как ураган, врывались в дом, перепрыгивая через две ступеньки, взлетали на свой этаж, срывали друг с друга одежду и в едином порыве, соединившись уже в полете, падали на постель. И все всех проклинали: консьержка на улице — всех негодяев на свете; начальник отдела в супермаркете — нерадивых кассирш, которые уходят, никого не предупредив; а французская студентка на площади Слоан — этих недотеп мальчишек, которые настолько трусливы, что не решаются пойти чуть-чуть дальше.



После пабов очень быстро наступила эпоха ночных клубов. После темного пива пришла очередь легких сортов, всех этих импортных пльзенского, голландского или датского, более дорогих, чем pale ale, светлое пиво, которые продавались в бутылках с белым горлышком. В ту пору я подрабатывал гардеробщиком в «Марки», это была первая дискотека в Сохо после «Мерси». Ливерпульские ритмы скинули с трона самого короля Пресли. Ездили теперь на «ягуаре», а не на мотоцикле «нортон», брильянтин остался лишь смутным воспоминанием, шестидесятые годы смели все. Это была великая эпоха мишуры, блеска. Одевались ярко: в розовую замшу, в атлас. Все величайшие стилисты Карнаби-стрит, которая становилась Меккой моды, предлагали нам одежду. Девушки были красивыми, жизнь легкой, светлое пиво — то, что из бутылок с белым горлышком, — повсюду лилось рекой. Но едва мы привыкли к этой новизне — все возьми да исчезни. Как саранча налетели хиппи, эти полуклошары, последователи скорее Будю,^[29] чем Будды, которые слонялись по всей Европе и проповедовали бедность. Из имущества у них имелись баджи с пацифистскими надписями, акустические гитары и постеры с портретом Че. Вид полагалось иметь самый что ни на есть убогий. Просить милостыню на Кингс-роуд считалось высшим шиком: раньше бродяги трясли своими стаканчиками для пожертвований не ближе конечной станции Северной линии. Жили хиппи у своих приятелей, которые, в свою очередь, ночевали у других приятелей, никто не признавался, что имеет легальное местожительство. Тогда стали пить горькое пиво, пролетарский напиток, который стоил гораздо дешевле,

чем наше пижонское светлое. Это был достойный потомок ячменного пива кельтов, которые, без сомнения, предпочитали пиво теплое и безвкусное. Было покончено с поп-музыкой и «Стратокастерсами». [30] В моду вошел фольклор. С дедушкиных чердаков извлекли банджо, ложки и старые тамбурины. Все до одного знали наизусть песни Боба Дилана, эти восхитительные мелодии, которые он намеренно уродовал, пел их таким гнусавым голосом, что понадобились Питер, Поль энд Мэри, чтобы все наконец осознали, какие они замечательные. В гардероб убрали всякие блески, розовую замшу, атласные юбочки. Все предвещало моду на милитаризм. От Кингс-роуд до Брикстона, от Минска до Макао вся планета одевалась по-военному, в темно-синее, камуфляж и хаки для пехотинцев. Полагалось быть тусклым и блеклым, больше никаких модельных стрижек и тщательных укладок, никаких шампуней и расчесок. Волосы отпускали как можно длиннее, желательно вдобавок со спутанной, всклокоченной бородой. Но мало было выглядеть блеклым, лучше — неопрятным, то есть, читай, грязным. Даже ковбойские сапоги, покуситься на которые все-таки не рисковали, носили запыленными и дырявыми.

Теперь в «Марки» никто больше не снимал своих курток. Мне пришлось сматывать удочки: кому нужно держать гардероб без пальто? В квартале, что начинался от набережных и шел до Ковент-Гардена, после закрытия ночных клубов можно было пить ночью, если имелась специальная карта. Ее выдавали докерам и грузчикам, это стоило целого состояния. Тогда я нанялся таскать ящики, а потом продавал эту льготу, которая была действительна в течение недели, ночным пташкам. Никогда еще не видели такого количества тружеников в смокингах, спешащих к докам. Далекое не

сразу мне удалось вписаться в эту толпу пестрых оборванцев. Но если отвергать и военную одежду, и воинствующую нечистоплотность, то тебя, чего доброго, примут за контрреволюционера или, еще хуже, за обывателя, которого все девчонки считали полным отстоем. Без нечесанных лохм и гитары, без сомнительной упаковки ты был для них меньше чем ноль, пустое место по всем статьям, хотя зачастую эти самки битников сами были продуктом малосъедобным. Следовало подождать, пока догмы немного смягчатся и появятся другие барышни-хиппи: очаровательные, в скандинавских сабо и в платьях на голое тело, с цветком в волосах.

В моду все больше и больше входила марихуана, но в сочетании с пивом, которое мне приходилось пить одному, это вызывало страшные головные боли. Я отказался курить со всеми вместе и приобрел репутацию закомплексованного кретина, пока не отыскал чудодейственный способ отмазки: когда какой-нибудь приятель или девица протягивали мне косячок, я доверительно наклонялся к нему или к ней и тихо говорил: «Большое спасибо, но я сейчас от другого кайфую...»

Разумеется, от меня тут же отходили и оставляли на какое-то время в покое, только иногда с широкой улыбкой подходили справиться, все ли в порядке. Музыканты в какой-то момент взяли пример с фольклорных групп, предпочитавших травку, но потом вернулись все же к своей первой любви. А поскольку они между делом сколотили-таки себе состояние и теперь проживали в Хемпстеде или Беверли-Хиллз на северо-востоке города, то могли позволить себе все, что угодно, и переходили со своего легкого пойла на крепкий алкоголь. В любом крошечном баре посетители цедили скотч, полагая, что теперь-то все они станут Чемпионом Джеком. И если гашиш и ЛСД плохо

сочетались с алкоголем, то кокаин, напротив, можно было мешать с чем угодно и в каких угодно количествах, чем больше, тем лучше. В результате люди разбивались на машинах и выбрасывались из окон. Во всем остальном мире дело обстояло не лучше. В Соединенных Штатах свирепствовал «Southern Comfort» Дженис Джоплин,^[31] в Париже Моррисон захлебывался в водочных волнах, а у себя в родной России неизвестный здесь, но знаменитый там Высоцкий напивался и горланил свои песни, прежде чем броситься в восхитительные объятия Марины Влади. Все эти люди исчезли довольно быстро. Единственное утешение — это расчищало дорогу молодым.

На равнинах аристократического Уэст-Энда я был слишком нищим индейцем, чтобы рисковать жизнью ради огненной воды и, к счастью для себя, остался верен гораздо менее брутальным напиткам вроде сидра или пива. Я решил, что пора кончать подрабатывать то тут, то там, и попытался, в свою очередь, научиться играть на гитаре, чтобы отправиться в Челси и там, по примеру прочих, зарабатывать себе на жизнь. Уже очень давно я тоже мечтал заниматься музыкой. В своем пансионате в Версале я выучил несколько нот на трубе, но такой инструмент никто бы в рок-группу не взял, он был для джаза или просто-напросто устарел. Целыми днями я торчал на Сомали-роуд, в северной части города, в доме, который снимал Донован, этот, по мнению журналистов, швейцарский Дилан. Но эта бесцветная кличка была явно не то, чего он на самом деле заслуживал. Его никогда не было дома, однажды он уехал в Катманду и по-настоящему оттуда так и не вернулся. Его голова осталась где-то в Непале, плавающая в завитках дыма последнего косячка. В свой дом он пускал всех музыкантов. В моде было арпеджио, то есть

исполнение звуков аккорда вразбивку, между тем как другие гитаристы того времени брали их одновременно. Мне вот-вот должно было исполниться двадцать, внешность — что надо, ловкие руки, созданные прямо для «Гибсона».^[32] Один француз из Ниццы, художественный директор какой-то звукозаписывающей фирмы, которого я встретил в «Марки», хотел меня записать, эта запись должна была произвести фурор, и он уже выбирал цвет обивки своего «ламборджини». Тогда этот стиль игры пытались перенести на континент слишком рано и безуспешно. Мы наивно полагали, будто французская песня нуждается в нас. Но в конце концов, все к лучшему. Если бы я и спасся от алкоголизма, то все равно в случае успеха мне пришлось бы слишком дорого заплатить. И в этот самый час я, наверное, колесил бы по дорогам, терзал гитару в концертных залах на летних фестивалях, давал автографы трем фанатам, сбежавшим из богадельни, трясся бы из города в город на раздолбанном автобусе, играя блюз, который так давно меня не отпускает.

В Лондоне больше делать было нечего. Моя карибская Сэнди в составе крошечного эстрадного ансамбля танцевала в каких-то летних клубах, моя элегантная возлюбленная давным-давно уже вернулась к себе в Болье-сюр-Мер с дипломом бакалавра в кармане, а вульгарная возлюбленная залетела от какого-нибудь водителя грузовика, ее «распашонка» наверняка оказалась очень удобной, чтобы кормить грудью младенца. Как в детской шараде: мой первый слог, в смысле, первая девица оказалась дура дурой, вторая — слишком заумной, третья — настолько сексуальной, что я до сих пор пускаю слюни перед супермаркетами. Зато все целиком и было, наверное, настоящим счастьем. Мне были нужны все три, хотя это

и непорядочно, и даже, я бы сказал, гнусно. Но почти закончились шестидесятые годы, когда нужно было выбирать: «Битлз» или «Роллинг стоунз». На железнодорожном мосту, удаляясь от Дувра, я сожалел о своих красавицах, окончательно и решительно сделав выбор в пользу «Битлз».



Надо все-таки заполнить эти треклятые две страницы, которые требует от меня психиатр, нужно сконцентрироваться. Завтра выйду в город, поищу какое-нибудь печатающее устройство, это будет лучше, чем отдавать написанные от руки каракули на трех листках с шапкой гостиницы «Четыре времени года». Оно мне и потом еще пригодится, если вдруг я решу что-нибудь написать. Речь, конечно, идет не о книге, как у того швейцарского пропойцы, а о чем-то вроде записной книжки, дневника. Это поможет мне перетерпеть пребывание в Центре, скуку, одиночество и наивные проповеди, которые наверняка окажутся неизбежным дополнением к розовым пилюлям. Правда, неплохая мысль. Я включаю компьютер, опцию «текстовой редактор» и усаживаюсь перед экраном с двумя белыми бутылочками, которые мне все-таки удалось отыскать в мини-баре, — они были задвинуты между водой и абрикосовым соком. «Curriculum vitae».

[33] Итак, от первого стакана до последнего глотка. Насчет последнего глотка, это просто, это будет завтра, в «Салуне последнего шанса». Возле всех тюрем и больниц есть такие «салуны последнего шанса», а то место, куда я собираюсь отправиться, — это помесь того и другого, по крайней мере одно из них точно. Теперь надо напрячь память и вспомнить самый первый выпитый мной стакан. Это было в тринадцать лет в Сен-Поль-де-Ванс, на крестинах одной девчонки. Бокал шампанского, который протянул мне Превер, он всегда оказывался там, где из горлышка вылетала пробка. Я ненавижу все эти крестины, но, с другой стороны, должен сказать в свое оправдание, что по части фанфаронства крестный отец у меня был что надо.

После чего в течение очень долгого времени я оставался трезв как стеклышко. Если не считать слабенькой наливки у бабушки Рюэль и капли шнапса у раввина Каплана, я не притрагивался к алкоголю в течение по крайней мере трех лет, до моей первой пинты «Ланкастер браун» на углу Ту Айс возле Пикадилли. Когда покончу с английским пивом, литрами алжирского и греческого вина, я расскажу в довершение про фаро, брюссельское пиво, самое дешевое пойло, которое можно там найти и которое употребляют сейчас только в Ле-Мароль, старом бедном квартале в центре города, где когда-то располагался настоящий блошинный рынок. Самые неимущие пили нечто еще более ужасное: каждый раз, когда снимали с полулитровой кружки излишек, пена стекала вниз, в ведро под аппаратом, мутноватой струйкой мочи, которой можно было наполнить бокал. Этот кошмар назывался «фаро из ведра», если кто это лакал, значит, он скатился ниже не бывает. Я все-таки употреблял более благородные жидкости, например коньяки в порту Стоун-Таун, солнечную текилу в Канкуне, ирландский кофейный ликер, стоя в баре «Dears», где писал свои стихи Дилан Томас, коктейли на площади Святого Марка и Spatenbrau в Берлине. Все это было очень весело, через несколько стаканов у робкого молодого человека, каким был я в ту пору, отрасли крылья, все казалось таким простым, например заговорить с девчонками или спеть одному под гитару, вечера были похожи на фейерверк. Но придется упомянуть также про тревогу, бессонницу, флакончики с «первой помощью», запряженные от подвала до чердака, в сапогах, ящиках и коробках из-под обуви. Не забыть также сказать, что я приглашал к себе лишь тех, кто мог выпить по крайней мере не меньше, чем я сам, что я ходил скучать на дурацкие коктейли ради того, чтобы опустошать буфеты с другими ястребами, что к

себе я возвращался, петляя по кривым переулкам, блуждая по зловещим кварталам и трясясь в пригородных электричках, лишь бы только не оставаться одному. Мне придется сознаться в своем приступе пиромании, рассказать про соседей, сосиски, маскировку по скаутским правилам, про пожарных, смирительную рубашку и столько всего...

Последние бутылки из мини-бара доканывают меня окончательно: я только-только начал писать свой текст, но уже с ног валюсь, так хочется спать. Закончу завтра. Я засыпаю, скрестив руки, на теплом компьютере, поставленном на один из столов ненужного мне номера с королевской кроватью, на которой я не собираюсь спать и на которой я, однако, не так уж давно провел немало восхитительных ночей с моей парижанкой. В этот самый час она, должно быть, опустошает бутики и крупные универмаги, молясь всем святым готового платья — святому Жермену, святому Сюльпису и особенно святому Оноре, [\[34\]](#) — и не затем, чтобы просто освежиться, но закупить целый гардероб. Когда я уходил, на полках не оставалось буквально ничего, ни клочка кружевцев от трусиков.

Чарли звонит мне в полдевятого, он уже на ногах, он в такой хорошей физической форме, что даже противно. Иногда мне случается видеть, как он вечером прибывает в аэропорт Шарля де Голля. Значит, из своего городского дома он выехал в четыре утра. Он бросает чемоданы в квартире, берет свою гитару «Винтаж», весом почти полтонны, садится в пятисотый «фиат», который у него стоит здесь постоянно, едет в сторону Батаклана, надевает сценический костюм и одну за другой играет три десятка песен, из которых пятнадцать требуют большой мускульной силы. А потом отправляется ужинать в какое-нибудь шумное кафе с оравой приятелей, ест, как людоед, пьет, как мотор от

«мазерати», возвращается лишь под утро с улыбкой на губах, сжав гитару, целует в шею свою Лолу, поднимается в квартиру на седьмой этаж бегом, презирая всякие лифты. Сегодня Чарли продал «Шамбли», пьет только воду. Он боится за свое тело, оно ведь в течение пятнадцати лет пробовало эту продукцию практически ежедневно. На своем пивоваренном заводе он был так называемым «нёбом», как на парфюмерных фабриках бывают «носы». Если он сразу остановился, вместо того чтобы периодически позволять себе стаканчик-другой, так это потому, что он ничего не умеет делать умеренно. Это слово ненавидят большинство певцов, как Чарли, так и многие другие, например Малыш Ричард и Чемпион Джек Дюпре, но истинное чемпионство принадлежит Джерри Ли Льюису.^[35] Как-то раз директор одного концертного зала арендовал для него «Стейнвей», великолепный рояль. Зная привычку рокера периодически играть ногами, он попросил его уважать инструмент, который стоит целое состояние, а если все-таки ему вздумается играть так, как он привык, делать это по возможности «умеренно». Тот вроде бы согласился. Директор почувствовал облегчение, но, видимо, рано. Великий Джерри Ли появился на сцене, как всегда, с бутылкой бурбона, которую поставил рядом с клавиатурой. Он исполнил свой стандартный набор, не особенно касаясь ногами клавиш, как и было обещано, но затем, охваченный внезапным приступом ярости, обильно оросил инструмент содержимым бутылки, потом поджег, при этом остервенело барабанил вступление к «Great Balls of Fire». Это был самый успешный его хит: он сидел за роялем, пылающим огнем, перед помертвевшим от ужаса директором. Так что в присутствии большинства певцов даже и не произносите этого слова — «умеренно».

Встреча у Клоссона у нас назначена только на вторую половину дня. У меня еще есть время несколько прийти в себя. Душа моя не на месте, рот словно набит папье-маше, и потом, я должен все-таки закончить эти проклятые две страницы! Уставший ждать экран потух чуть ли не после первой же строчки. Писать подобные вещи явно не мой конек. Когда я услышал этот проклятый телефон, в моей черепной коробке внезапно пришла в движение вся сортировочная станция Вильнев-Сен-Жорж. В следующий раз пойду в другую гостиницу: здесь просто невозможно жить. Тетки в баре уродливы, телефонный звонок слишком громкий, а мини-бар в номере пустой. Чарли перезвонит попозже, ближе к полудню. Думаю, он просто испугался, что меня нет, что после его отъезда я вышел снова и отправился исследовать дно общества и что теперь моя «киска», узнав об этом, тоже отправляется жить в Амальфи с Гаспардо Луисом фон Рубирозой. Как только я вешаю трубку, меня охватывает странное возбуждение и я погружаюсь в своеобразный сон наяву: я мстительно мечтаю о том, что скажу ему, чтобы он пожалел о том, что бросил меня здесь. Прежде всего я заявлю ему, что будто бы взял длинный лимузин — Чарли питает слабость к длинным лимузинам, — затем, развалившись сзади на обитом дорогой кожей сиденье, я смаковал светлое пиво «Шамбли» из оригинального стакана, который так удобно размещался в ладони. Ярko горели фонари, и весь китайский квартал якобы проносился мимо, мелькая цветными тенями. На главной улице мы будто бы встретили несколько рикш, которые рыскали по городу в поисках клиентов. Вдруг кто-то постучал в заднюю дверцу. Это якобы был некто Лафлер, китайский кули, который тянул коляску с толстым господином Чангом, влиятельным членом гонконгских триад. За два пиастра мне будто бы вручили секретный пароль, открывающий двери в один гостеприимный

салон, который на самом деле был притоном, закамуфлированным под прачечную, куда я попал, толкнув дверь, замаскированную, в свою очередь, под барабан седьмой сушильной машины. Там молоденькие шаловливые и расфуфыренные азиаточки будто бы сидели за бамбуковой стойкой, томно покуривая английские сигареты. Их изящные формы выпукло вырисовывались под шелком застегнутых наглухо блузок. Потом будто бы появился какой-то мандарин с косичкой и руками, затянутыми в рукава шитого золотом халата. Слегка согнувшись на пороге, он меня поприветствовал и сказал пронзительным голосом: «Делайте свой выбор, месье, все они ваши...»

Впрочем, у Чарли сейчас не будет времени выслушивать эту дребедень, он должен как можно быстрее доставить меня к моему духовнику. Они там, в Центре, производят прием — что случается у них нечасто — после половины третьего, а в Труа-Ривьер он должен вернуться до шести вечера. Это не очень далеко, часах в двух езды отсюда, но ехать он должен со своими музыкантами, а гастрольный автобус медленнее, чем его джип. Мне жаль, что я не смогу отправиться вместе с ними. Они будут играть road songs, эти дорожные песни, которые сочиняли бродяги во времена товарных поездов, или, возможно, повторят программу сегодня вечером. Я бы имел право на концерт для меня одного.

Я должен как можно быстрее найти какой-нибудь принтер и еще сделать две фотографии. Наспех одеваюсь, натягивая ту же одежду, что была на мне накануне. Шмотки, правда, не слишком свежие, но ничего другого у меня нет: по мнению моей жены, Монреаль на протяжении всего года живет под толстым слоем льда и снежных хлопьев, она приезжала сюда только в январе, и потом, она знает песенку Виньо: «У страны моей имя зима». Так что вполне естественно,

для нее Канада — это вечный снег, перемещаются здесь исключительно на санях, которые тянет стая ездовых собак, дрессированных лосей впрягают в автобусы, грузовики, такси; клиника, куда я отправляюсь, сложена из бревен, в дверь к пациентам будут скрестись медведи-гризли в надежде украсть у них ночью миску пеммикана^[36] или маисовой крупы, смешанной с бизоньим жиром, от которых без ума индейцы-могавки и медведи. Несмотря на такую жару, в моем чемодане на колесиках лежат спортивные лыжные штаны, такие, как носили во времена Поля-Эмиля Виктора,^[37] несколько теплых свитеров, подбитая мехом куртка, какую эскимос Нанук, должно быть, завещал после своей смерти Музею человека, теплые кожаные перчатки и шерстяная шапочка. Я доверял своей красавице, вернее, мне было настолько стыдно за тот пожар в Отее, что я не решился проверить содержимое багажа, поскольку был не в силах скрыться под землей. Единственное, что я мог, так это смыться как можно скорее, прихватив с собой лишь компьютер. Обнаружив все это в своем чемодане, я был несколько удивлен, но у меня сложилось впечатление, что избежать правосудия удалось всего лишь ценой снегоступов и шапки. Это носят в России, я знаю, но какая разница? Для моей жены Россия — это почти то же самое: сани, шапки и тройки, все эти штуки, связанные со снегом, иглу, каяки и полярные медведи.

Чувствуя себя несколько неудобно в своей помятой одежде, я спускаюсь в холл и усаживаюсь в баре, который, по счастью, в десять часов утра еще пуст. Я заказываю стаканчик, чтобы поправить свои дела, «Наппа валле каберне-совиньон» — несколько длинноватое название для вина, которое так быстро проскальзывает в глотку. Затем еще один, потом

третий. Бармен послушно наливает, такой же невозмутимый, как и накануне, когда он производил свои расчеты перед цветником старых пугал. Когда мне становится немного лучше, я спрашиваю у консьержа, знает ли тот какие-нибудь магазины мужской одежды. Он рекомендует мне один, на улице Сент-Катрин, в двух шагах отсюда. В том, что касается покупок, я ему доверяю больше, чем по части ночных увеселительных заведений. Сначала я иду не туда, но в конце концов все-таки нахожу дорогу, следуя за красивыми девушками, которые намереваются «magasiner». Это слово употребляют здесь, в Квебеке, и означает оно «делать покупки». Я стесняюсь своей одежды, она хранит воспоминания обо всех вчерашних неприятностях: поломке машины, попытке открыть бутылку «Мерсо» и — в довершение — о жареных почках, я довольно плохо управляюсь с палочками. Чтобы как-то укрыться, я ныряю в первый попавшийся магазинчик, который встретился на пути. У них, как это следует из объявления на двери, «распродажа». Что еще надо? Продавщица очаровательна, я клиент легкий: с ходу покупаю две или три пары полотняных брюк, несколько рубашек без рукавов и футболок. Вдруг мой взгляд внезапно останавливается на без преувеличения сногшибательной модели: ярко-фисташковая надпись «Я люблю Монреаль» украшает оранжевый нагрудник с золотыми блестками. Я говорю себе, что неплохо было бы явиться к Клоссону в этой самой штуке — наверняка на меня подействовали все эти «наппа валле», которые я выпил в гостиничном баре. Представляю себе физиономию психиатра, когда я предстану перед ним таким пугалом. Человек ожидает известного парижского писателя, во всяком случае, моя жена по телефону отрекомендовала меня именно так, чтобы меня поставили в начале их листа ожидания. Затем он навел обо мне справки у Чарли, который вдруг

сделался моим «поручителем», поскольку они не нашли меня на страницах издания «Кто есть кто». Им захотелось узнать, знает ли меня хоть кто-нибудь, кроме моего почтальона и консьержки, когда я на Новый год вручаю им традиционный конвертик. Вместе того чтобы ответить им, что я веду жизнь весьма скромную, хотя и несколько беспорядочную, Чарли представил меня алкоголиком, постоянным персонажем светской хроники, помесью Нерваля и Скотта Фицджеральда, может быть, немножко денди — издержки профессии, — в общем, знаменитостью, которую печатает известное издательство, все литературные салоны столицы дерутся за право принимать меня у себя, о моей кандидатуре уже вовсю идет речь в Академии.

Продавщице я сообщил, что вещичка мне нравится, упаковывать не нужно, прямо сейчас и надену. Я быстро ее натягиваю, девушка смотрит на меня несколько недоверчиво. За весь сезон она продала только один экземпляр этой забавной модели, во всяком случае, в секции, где висит этот кошмар, болтаются лишь одни свободные плечики. Она искренне недоумевает, как это я способен приобрести такое извращение. Моя рубашка, пусть даже изрядно помятая, и итальянские джинсы, несмотря ни на что, все-таки имеют какой-то вид. Ей физически больно видеть меня таким нелепым. Она очень любит свою профессию, это очевидно. Чтобы доставить ей удовольствие, я снимаю вещицу. Надену ее снова только перед самым визитом к доктору. Напяливаю одну из рубашек, а футболку сую в пакет, бормоча при этом, что это «чтобы разыграть старых приятелей». Если это и ложь, то только наполовину. Она сразу чувствует такое облегчение, что посылает мне самую обворожительную улыбку, какую только можно увидеть в городе. Я пользуюсь этим, чтобы спросить ее адрес. Если мне когда-нибудь удастся сбежать из

своего монастыря, я укроюсь в ее квартире: она гораздо красивее, чем все эти скандинавские девицы в «Пусси-кэт», пусть даже все они топлесс и «отсутствие силикона гарантировано». А зовут ее Бетти — это вышито черными нитками на кармашке ее блузки.



Сделав все покупки у хорошенькой продавщицы, я отправляюсь на поиски магазина электроники. После некоторого затишья, которому я обязан двум каберне, поезд Париж — Вентимиль под моей черепной коробкой как раз подходит к перрону. Затишье было временным, ад начинается вновь. Я вхожу в бар, который только-только распахнул свои двери. Мне необходимо сделать подгонку, (чудовищный жаргон барных стоек, но ничего лучше в данной ситуации не подберешь). Моей подгонкой станет на этот раз «Gewürztraminer». Это не совсем то, что надо, слишком кисло и горько, но это пивная, которая претендует на то, чтобы быть «Foret-Noire». Выбора у меня нет, а то я бы предпочел стаканчик «Liebfraumilch». Не то чтобы это лучше, но «Liebfraumilch» означает «молоко Святой Девы». Пусть невкусно, но по крайней мере поэтично. Мне сразу же становится лучше, светлое пиво — это довольно действительно; единственный недостаток — от него становишься несколько нервным и раздражительным. Бармен советует мне магазин, в котором продается то, что мне нужно. Это не очень далеко отсюда, и, как ни странно, магазин находится в том же здании, что и англиканская церковь. Я поднимаюсь по лестнице, на стрелке написано название фирмы, но этаж не указан. Поднявшись на второй, я открываю автоматическую дверь и натываюсь на десяток молчаливых женщин, стоящих вокруг стола. У них у всех одинаковые светло-голубые блузки и фланелевые юбки, закрывающие колени, по их белым накрахмаленным вуалеткам я догадываюсь, что это местные монахини, а не сестры милосердия времен войны тысяча девятьсот четырнадцатого года. Они перебирают и складывают в

коробки одежду: теплые свитера, шарфы, шерстяные носки. Наверное, здесь собирают посылки в какую-нибудь холодную страну, провинцию Великого Севера. Я говорю себе, что позже мог бы принести свои зимние вещи, с которыми не знаю, что делать. Хорошо, что они хоть для чего-нибудь сгодятся. Самая старшая из них говорит мне нежным голоском, что компьютеры на третьем этаже, потом она улыбается, указывая на кружку для пожертвований, на которой написано: «В пользу бедных». Все делают вид, что очень заняты, а самая молоденькая прыскает со смеху, наверное, еще не привыкла к этому узаконенному рэкету. Я просовываю, вернее, проталкиваю в щель крышки долларовую купюру. Теперь мне понятно, почему на двери ничего не написано, похоже, кружка уже полна, хотя до полудня еще далеко. Принтеры я нахожу на третьем этаже, покупаю что-то не слишком громоздкое и не очень дорогое — когда буду возвращаться, этот я оставлю. У меня их уже два, модели несколько устарели, но работают очень хорошо. С электроникой вечная проблема: не успеешь выйти из магазина с купленным устройством, как оказывается, что уже вышла новая модель, а ваша покупка устарела. Прохожие на улице показывают на ваш агрегат пальцем, а сопровождающая вас блондиночка, которая на самом деле брюнетка или рыжая, вас покидает ради клоуна в Амальфи, потому что ей стыдно появляться с такой старомодной посредственностью. Я отправляюсь в кассу, чтобы заплатить за принтер. У него определенные технические параметры, еще сорок долларов, и они присоединят его к компьютеру, это займет два часа. Я в этом ничего не понимаю и соглашаюсь, хотя чувствую, что меня дурачат. Но куда деваться, я не успею разобрать и четверти их «Руководства по эксплуатации», как выяснится, что они уже не поставляют запасных баллончиков для красящих

механизмов. В наказание я прошу их сделать мне две ксерокопии той страницы паспорта, где фотография. Понятия не имею, остались ли в Северной Америке где-нибудь фотоавтоматы. Мне предстоит как-то убить два часа, целых два часа таскаться по улицам! Поездов в голове больше нет, сплошное солнце, погода прекрасная. Я иду по проспекту, заставленному стульями уличных кафе. Освобождается столик, я спокойно сажусь, чтобы немного побездельничать, а главное, положить свертки, потому что острые бечевки ручек режут мне пальцы. Мне нравится разглядывать людей, которые без цели фланируют по летним улицам, особенно если они только что купили мороженое. Одни лижут его, далеко высывая язык, другие осторожно покусывают с отрешенным видом, третьи жадно сосут, прямо как в порнофильмах категории X. У некоторых оно тут же тает и течет, и они оказываются перемазаны буквально до ушей. Есть и такие неловкие, у которых шарики падают, когда они наклоняют свой рожок, желая посмотреть время. Сидеть на террасе напротив мороженицы так же забавно, как смотреть комедию вроде «Laurel et Hardy».

Вдоль проспекта движется какой-то автомобиль с откидным верхом, желтый, вызывающе американского вида. Это Виктор, я узнаю его даже со спины по кудрявым волосам. Он занят тем, чем и всегда в июле, — перевозит компанию самодовольных придурков. Я машу ему рукой, окликаю, но загорается зеленый свет, и он трогается с места. Он направляется к «музею смеха», который мы проезжали вчера. У меня еще куча времени до того момента, когда можно будет забрать покупку, пойду прогуляюсь. Я поднимаюсь, чтобы заплатить, и тут же компания молодых людей, явно уже подвыпивших, усаживается за столик, который я только что освободил. Их довольно много, поэтому им приходится сдвинуть стулья. На груди

одного из них гордо пылают фисташковые буквы «Я люблю Монреаль», те самые, с улицы Сент-Катрин. Наш человек. Покупатель такой же футболки, что и я. Как странно на него напороться: в городе полно людей, лето, суббота, да еще фестиваль! И тут, сам не понимаю почему, я категорично заявляю:

— Вы влюблены в девушку по имени Бетти...

Тип смотрит на меня с удивленным видом.

— А вы откуда знаете?

— Так это же видно, уважаемый, сразу видно.

Поскольку с самого своего появления здесь они не произнесли ни слова, я никак не могу знать, что этим самым утром парень купил этот кошмар у хорошенькой продавщицы, что он, как и я, прочитал ее имя на кармашке блузки и что, опять-таки как и я, он все еще думает о ней. Уже разогретые, как мне кажется, несколькими бокалами пива, вновь прибывшие принимают меня за прорицателя, удивительного медиума, жмут мне руку, опять сажают за стол, предлагают стакан с бельгийским акцентом, напоминающим кряканье заступа при выкапывании картошки. Если кто-то узнает влюбленного только по манере сдвигать стулья, это, право, стоит обмыть. Я благодарю их за приглашение, но, к сожалению, я должен уехать из Монреаля сегодня вечером, а хотелось бы еще музей посетить до отъезда. Не могу же я сказать, что не только останусь в городе сегодня вечером, но вообще задержусь здесь не знаю на сколько, что мне не хотелось бы явиться в Центр мертвецки пьяным. Так что я предлагаю им отправиться на фестиваль. Они как раз туда и собираются, у них абонемент на все праздники, так что за фестиваль уже заплачено.

— Но сначала выпьем что-нибудь, а то, если официант появится, а мы возьмем да и уйдем просто так, решат, что мы плохо воспитаны.

Тут появляется улыбающийся официант, который на самом деле оказывается официанткой, и спрашивает, что мы будем заказывать. Ребята хотят заказать бочкового пива, я советую взять что-нибудь другое, потому что здешнее бочковое пиво — это мутноватая газированная водичка, слегка приправленная хмелем, им придется все выплюнуть, и разразится скандал, футболка и так привлекает внимание, не хватало еще закончить день в отделении конной полиции. Они следуют моему совету и заказывают «Orangebloom» в бутылках на всех, каждый по кругу угощает всех присутствующих. После первого «турне» из этой серии, которая обещает быть весьма долгой, ясно, что с мыслью о музее придется распрощаться. Я знаю Бельгию, я прожил там пять лет, так что у доктора Клоссона я появлюсь, как сдутая шина, они ведь найдут тысячу причин — правдоподобных и не слишком, — чтобы угощение повторить. Когда один заявляет, что угощает всех, — это сигнал для соседа, что следующая очередь — его.

От угощения до угощения время летит быстро, мне пора, мой приятель будет меня ждать. Итак, я прощаюсь. Они все желают за меня заплатить. Я для вида некоторое время сопротивляюсь, это, разумеется, бесполезно: бельгиец в отпуске очень любит тратить деньги, поэтому повсюду в мире его встречают с распростертыми объятиями, за исключением, разумеется, Конго. Там лучше вам оказаться швейцарцем. Но если не считать бывшего Заира, скажите только, что вы бельгиец, и люди вам сразу заулыбаются, а скажите, что вы француз, и вам тут же скорчат рожу, даже во Франции.

С некоторым сожалением расставшись со своими брюссельцами, я пытаюсь вновь отыскать дорогу к англиканской церкви. Этот город похож на все американские города — проспекты пересекаются

улицами, и все под прямым углом. Никто не способен здесь потеряться, кроме меня. Я иду по широкому проспекту, название которого мне что-то напоминает. Прохожу мимо «Спектрума» и останавливаюсь: это клуб, в котором я ждал Чарли в первый раз. На этой улице я оказался совершенно случайно зимой, город дремал под снежным покровом, и я толкнул дверь, потому что очень замерз и потому что оттуда слышалась музыка. Купил билет и сел за столик. Я был восхищен. Этот человек обладал голосом, который я мечтал иметь, чтобы петь песни, которые мне хотелось петь. Много лет спустя, когда мы встретились у Эдди Беркли, я заговорил с ним об этом памятном для меня вечере, но с тех пор у него было столько других вечеров в разных странах, что об этом он и не помнил. Я еще хотел подойти к нему после концерта и поздравить, сказать, как он мне понравился, но один из громил, которые охраняли его ложу, меня выпроводил, по-квебекски, то есть вежливо, но решительно. Чарли тогда находился в зените славы, на апогее известности. Теперь — совсем другое дело: он превратился в своего рода национальное достояние. Однажды зимой мы катались на лыжах неподалеку от Морин-Хейт, в горах, где установлены несколько подъемников. Я тогда замерз и остался внизу. Он поменялся со мной лыжными палками, и какая-то девчушка узнала его и смотрела, раскрыв рот. Когда он уехал к вершине горы, она подошла ко мне с «Kodaflash» в руках и робко спросила:

— Вы не могли бы попросить его сфотографироваться со мной, когда он спустится?

И тогда я ответил с юмором, который некоторые плохо воспринимают:

— Но кого, цыпочка моя?

Девчушка очень удивилась.

— Как кого? Чарли Вуда!

— Кого?

— Чарли Вуда! Вы же только что с ним разговаривали!

— А, этот забавный носатый тип! А я его не знаю. Он подошел попросить у меня автограф...

Девчонка не могла прийти в себя.

— Но кто же тогда вы?

Очевидно, в ее мирке выше Чарли мог быть только архангел Гавриил...

В «Спектруме», сразу после шоу, десятки фанатов, в основном молоденькие девицы, дрались за право дотронуться до его головы. Напрасно я говорил, что сам певец, что специально приехал из Франции, чтобы с ним встретиться. Наверное, перед его примеркой таких было штук десять. И вот теперь он за мной заедет, отвезет в клинику, пожмет руку на прощание. Даже трудно в это поверить.

Что еще мне трудно, так это вспомнить место, где нахожусь. Я забыл адрес церкви, и только третье такси, после того как я невразумительно описал церковь шоферу, отвозит меня куда надо. Я забираю принтер, то же такси быстро доставляет меня в гостиницу с навеянным Вивальди названием. Выясняется, что Чарли уже приезжал, не застав меня, он оставил записку, что отправляется прямо в клинику, чтобы подписать необходимые бумаги, и будет ждать меня прямо там. Я хватаю чемодан и засовываю туда свои покупки. Вещи для монашек я распихиваю по бумажным пакетам из магазинчика на улице Сент-Катрин. Внизу расплачиваюсь за бар и комнату, на два часа снимаю лимузин моей ожившей мечты — если уж придется сдаваться и складывать оружие, сделаем это с блеском. Я прошу шофера заехать к моим англиканским монашкам, поднимаюсь на второй этаж. Сестры весьма удивлены, увидев меня опять так скоро, ведь дорогу в магазин я уже знаю и взнос сделал. Когда я вываливаю перед ними содержимое своих сумок, они не могут

скрыть восхищение: вещи все новые и хорошего качества. Моя красавица, даже будучи в самом дурном расположении духа, не стала бы мне покупать всякое уцененное барахло на распродажах. Они горячо благодарят меня, да благословит меня Господь. Мне надо спешить: в то место, куда я отправляюсь, впускать-то впускают, а вот можно ли будет оттуда выйти — это большой вопрос. Я опять сажусь в автомобиль, говорю адрес Центра, мы поднимаемся по Шербрук, потом все прямо и прямо. Проезжаем мимо построек в викторианском стиле, можно подумать, что это казарма или больница. Я вытягиваю шею, чтобы прочесть на фронтисписе надпись, запечатленную на гранитном блоке. Оказывается, это решетка Мак-Жиля, университета, о котором столько говорили в семье моих бабушки и бабушки, когда я был совсем маленьким, потому что бабушка, младшая из тринадцати детей, была единственной — именно потому, что оказалась последней, — кто закончил деревенскую школу. Она училась в этом университете и там на ежегодном балу встретила своего будущего мужа. Дедушка был далеким потомком датчанина Гильденстерна, который когда-то в составе войска викингов явился завоевывать Англию. Он был купцом, торговал можжевелевой водкой, этим джином для лондонских кокни, так что, можно сказать, у нас в семье начинали плохо. Персонаж по имени Гильденстерн был, наряду с Розенкранцем, другом шекспировского «безумца» из Эльсинора. Автор убивает обоих в последнем акте. Раз он дал своему персонажу такое странное имя, наверняка встречал моего предка. Возможно, они ходили в одну и ту же лондонскую таверну. Будь благословен этот Гильденстерн среди других Гильденстернов, ведь не случайно он дал свое, а стало быть, в какой-то степени и мое имя приятелю Гамлета в пьесе величайшего из

англоязычных жонглеров рифмами, переложившего
восьмисложником легенды-апокрифы Круглого стола.



Клиника расположена довольно далеко на проспекте, который, по мере того как приближаешься к Центру, становится все менее привлекательным. Все пыльное, асфальт изрытый и выщербленный, как в Нью-Йорке; то тут, то там бросаются в глаза неопрятные заплатки гудрона разных оттенков; сквозь плиты тротуара пробивается грязная трава; на газоне, который никто уже давно не подстригал, валяются клочки засаленной бумаги. Чем больше номер дома, тем все более облупившийся фасад. Уровень жизни можно узнать по припаркованным машинам. Здесь в основном японские автомобили, старые «доджи», подержанные «бьюики», между тем как еще километр назад нечастые места на парковках оспаривали «крейслеры» и «кадиллаки». В этом месте проспект Шербрук пересекает довольно зловещий квартал. Позднее я узнаю, что здесь в изобилии водятся травести. Перед тем как окончательно сдать, я пытаюсь заглянуть в «Салун последнего шанса». Как и положено, я нахожу его за два дома до места назначения. Длинный белый лимузин останавливается перед баром, который называется «У Люси». Я вхожу, а все клиенты выходят полюбоваться автомобилем: наверняка они не видели ничего подобного со дня показа по телевизору сериала «Династия» тридцать лет тому назад. Люси очарована. Поверх джинсов у нее блуза с оборками, а под ней ничего нет, как в благословенные времена первых переселенцев. И вообще она похожа на барышень тех давних времен: ровный пробор разделяет светлые волосы, собранные в узел на затылке, а подведенные брови подчеркивают большие оленьи глаза. Я заказываю кружку пива, следом за ней еще одну.

Выпиваю быстро: должно быть, Чарли уже беспокоится. Достаяю из кармана деньги, Люси говорит:

— Вторая за мой счет, приходите, когда у вас будет немного больше времени.

То же самое она, без сомнения, говорит каждому новому клиенту. Плевать мне на это! Здесь мне придется задержаться на целый месяц с этой очаровательной регистраторшей. А потом я появлюсь вновь, притворяясь, будто прошел курс лечения, свежий как огурчик, загоревший в солярии, с накачанными на тренажерах мускулами. Жена, одетая во все новое, будет встречать меня в Руасси со всеми моими друзьями, которые три дня назад избегали меня как зачумленного. В руках транспаранты: «Добро пожаловать домой, Гильденстерн». Хор трубачей в полном составе из Минска и Макао, все в клетчатых куртках, шапках из нутрии и эскимосских ботинках от Вайанкура будут играть Дюбулона. Разумеется, не обойдется без длинной живой цепочки вдоль дороги, состоящей из моих знакомых пожарных из Отея в парадных мундирах под начальством конного полицейского из «Салуна бешеной лошади», целой флотилии «ситроенов» с мотором от «мазерати». В моем огромном саду, засеянном дерном, набирает обороты вечеринка на свежем воздухе, куда кроме приятелей мы пригласим всех моих завистливых соседей, туго запеленатых в смирительные рубашки, с воронкообразными колпаками, криво сидящими на их слабоумных головах. В самом центре поставим барбекю, где связка гигантских сосисок будет поджариваться на огне из фирменных шмоток. Я буду кое-как ковырять в тарелке *din sum* и жареные почки, потом смоюсь, сославшись на усталость, прихватив с собой отвоеванную — уже навсегда — красавицу, введенную в заблуждение искусной уловкой.

На меня тут же бросаются четыре санитарки:

— Господин Вуд уже у директора, подписывает ваш чек.

Я еще и войти не успел, а они уже хотят мой чек. Уж больно быстрые. Представим только, что я заперся с прекрасной официанткой. Тогда, если Чарли не хочет потерять свои денежки, ему придется самому пройти мой курс терапии, не думаю, что он сможет перепродать его кому-нибудь еще, даже в сквере Вижер. Я захожу в кабинет и наконец встречаюсь с доктором Клоссоном. С самого начала я представлял себе его с маленькой бородкой промотавшегося плейбоя, в очках с затемненными стеклами, скрывающими усталые глаза, исхудавшими ручками, болтающимися в складках помятой куртки из альпага. А передо мной оказался человек лет шестидесяти, лысый и кругленький, лицо в красных прожилках выдает бывшего алкоголика, на нем очки с невидимой оправой, как у Дэрри Кула в «Мотороллере», он сильно потеет, несмотря на вентилятор, который в одиночестве попискивает в углу. С рубашкой, расстегнутой на уровне пупка, он встречает меня, широко улыбаясь:

— Добро пожаловать в Центр «Надежда и обновление», я директор, но прежде всего я ваш друг, садитесь сюда, вижу, вы напряжены, примите успокоительное.

Одна из санитарок, напоминающая обличьем громилу из «Спектрума», решительная, но улыбчивая, дает мне что-то вроде облатки, чтобы положить под язык. Меня сажают за стол, я подписываю некий юридический документ, это расписка, что Центр ни за что не отвечает, ни в случае неудачи с лечением, ни в случае пожара, ни в случае нападения, будь то атака террористов или ядерная война. Если я вдруг сбегу, все расходы по моей поимке лягут на меня же. Я должен им отдать все свои деньги, кредитные карты, паспорт и авиабилет. Все это складывают в коробку, которую

прячут в ящик сейфа рядом с другими. Из-за той облатки я нахожусь в полубессознательном состоянии. У меня забирают чемодан, его уносит «помощник», кто-то из технического персонала, явно бывший наркоман, которого психиатр использует на черных работах. Напрасно я пытаюсь объяснить ему, что чемодан на колесиках, он меня не слушает и продолжает волочить его, подняв обеими руками к груди. Этот зомби, доктор, Чарли Вуд и я идем по грязной улочке. Я успеваю на ходу заметить ее название — Папино. Странное название. Моя комната оказывается жуткой халупой, достойной турецкого общежития где-нибудь на юге Рейнской области. Отгороженный бокс в углу комнаты, где установлены еще две ветхие кровати. Крошечная коробка со стенами из клееной фанеры, четыре тонкие перегородки, выкрашенные омерзительно зеленым цветом. На стенах ничего, ни единого постера. Кровать узкая, из спаянных труб. Из прорех тощего матраса выглядывает непонятная субстанция, материя топорщится на стальных узлах. Температура градусов сорок, разумеется, кондиционера нет, все отверстия законопачены из-за наркоманов. Вокруг окон видны следы ногтей, видимо, кто-то пытался выломать решетку, скобы погнуты, не иначе как черенком ложки. Судя по всему, пытались разбить окно, чтобы схватить что-то снаружи, может быть, пакетик, который протягивал торговец. Если все в этой «гостинице», как называет это место доктор Клоссон, такое же старое и сломанное, то душевые кабинки, напротив, находятся в безукоризненном состоянии. Меня это удивляет. Такое несоответствие между санузлом и всем остальным, пронизанным убожеством, несчастьем и болью. Те, кто покинул это место, справившись со своими недугами или нет, оставили здесь частицу собственных страданий, это почти неощутимо, но тем не менее чувствуется повсюду.

Все комнаты рассчитаны на два, иногда на три человека, как моя с этим маленьким боксом. Я в привилегированном положении. Конечно, ведь я — известный в Париже писатель, почти академик. В конце коридора общая гостиная, тускло освещенная зеленым неоновым светом, как унылые кафе Северной Африки, эти «интегринские» кафе, как их называет Чарли Вуд. Он говорит, что они привязаны к зеленому неону, как мы летом к светлому панаше. В комнате стоят большой холодильник, большая кофеварка, покрытый клеенкой стол на пятнадцать человек, школьные стулья и два широких и глубоких кресла, обтянутые коричневой искусственной замшей, настолько истертые, что пружина чуть ли не торчит наружу. На стенах тоже нет ничего, зато на полу изношенный линолеум, протертый до самого бетона. В углу примостился древний телевизор, экран не светится, но все равно перед ним, уткнув нос в стекло, сидит какой-то тип и сосредоточенно комментирует то, чего нет. Чарли пора идти, машина ждет его на углу улицы, он еще раз делает комплимент психиатру по поводу его заведения и покидает меня, едва буркнув «до свидания». Это так на него не похоже. Я говорю себе, что, возможно, он уже в мыслях далеко, на своем шоу, в Труа-Ривьер, но, скорее всего, ему просто очень неприятно оставлять меня в этом зловещем месте. Итак, он уходит, что-то говорит, просто чтобы что-то сказать. Я уверен: он боится в последнюю минуту передумать, послать куда подальше этого замечательного доктора, взять меня с собой, и пускай я свалюсь на лестнице, он меня поднимет, и пускай я запою «Sixteen Tons», он будет петь со мной вместе. Автомобиль удаляется по улице Папино, он разрисован цветными, светящимися полосами. Тут я вспоминаю о своей ужасной футболке, я совсем про нее забыл, можно сказать, выход не удался, «антре» я провалил.

Зомби ставит мой чемодан на кровать, доктор указывает на шкаф.

— Ну что ж, устраивайтесь, мой друг, почувствуйте себя как дома, времени у вас много, другие пациенты еще принимают процедуры. Ужин будет подан только через полтора часа, вы увидите, это вкусно, сам хозяин питается здесь и, как вы можете убедиться, чувствует себя прекрасно.

Говоря это, он хлопает себя по животу и тут только замечает, что рубашка распахнута. Он застегивает пуговицы. Жалко, конечно, что не получилось с футболкой, ну ничего, возможно, еще пригодится для следующего случая. Мысль об этом вытесняет все мои грустные размышления. Клоссон тоже прощается, он, разумеется, решил, что странная улыбка, осветившая мое лицо, это не что иное, как нервный спазм, вызванный недавними излишествами.

— Я оставляю вас с Нелли, уважаемый, это наша дежурная санитарка, идемте, я вам ее представлю, вы увидите, это истинный ангел.

Мы опять выходим в коридор. В гостиной странный человек по-прежнему сидит, уставившись в потухший телевизор, комментируя несуществующую передачу, Клоссон поворачивается ко мне:

— Это несчастный Марио, синдром Корсакова. К сожалению, это необратимо...

Он стучит в дверь помещения для дежурных врачей, открывается маленькое окошко, оттуда появляется свежее личико Нелли. Увидев начальника, она открывает задвижку, которая, должно быть, защищает ее от опасных наркоманов. Здесь хранятся все медикаменты, в том числе столь желанный метадон, заменитель, который дают героинозависимым. Мы входим в комнату, дверь за нами тут же запирается. Доктор подталкивает меня вперед отеческим жестом, раздражающим меня неимоверно.

— Нелли, позвольте представить нашего нового пациента из Франции. Он пробудет у нас несколько недель. Сейчас ему нужно отдохнуть, тем более что это другой часовой пояс. Я зайду завтра ближе к полудню.

Толстяк еще раз прощается со мной и машет рукой Нелли. Наверняка это его любовница, держу пари, что ей нравятся толстые: она смотрит на него с таким вожделением. Открыв каталожный ящик, она достает формуляр, который нужно заполнить, и задает мне кучу вопросов: фамилия, адрес, профессия, есть ли на что-нибудь аллергия — в общем, самые банальные вещи, на которые я отвечаю почти машинально. Но когда дело доходит до вероисповедания, я возмущаюсь:

— Какое это имеет отношение к моим проблемам?

Она пытается меня успокоить.

— Это просто чтобы знать, за кем посылать в случае кончины: за кюре, пастором, раввином — ну, вы понимаете.

Разумеется, понимаю. И теперь я совершенно спокоен. Она сердито засовывает заполненные листочки в толстую папку, громко щелкает скоросшивателем и поднимается, чтобы открыть мне дверь. Все это не глядя на меня. Я без труда нахожу свой бокс, раскладываю вещи в маленьком шкафчике. Их у меня не слишком много, поэтому все происходит довольно быстро. Тогда я вновь направляюсь к входной двери «гостиницы», которая больше напоминает блокгауз. Дверь расположена на первом этаже небольшого здания из красного кирпича. Мне просто хотелось бы прогуляться, еще раз зайти в салун и повидаться с Люси, выпить последнюю кружку пива, прежде чем покончить со всем окончательно. Дверь открыта, она выходит на террасу, где стоят садовые пластмассовые стулья и большая цилиндрическая пепельница, доверху наполненная окурками. Я огибаю стулья и направляюсь к тротуару. Тут же очередной

«помощник», сидящий на багажнике автомобиля, меня останавливает. Границу пересекать нельзя, а граница — это там, где кончается гравий. Вид у этого типа не сказать чтобы развязный, но взгляд пустой и бессмысленный, рука наверняка тяжелая, этакий зомби-охранник-каторжник. Ладно, я не настаиваю, послушно возвращаюсь к кромке. Тем хуже для «Салона последнего шанса», тем хуже для пива и тем хуже для Люси, у которой ничего нет под блузкой с оборками.

Делать мне нечего, читать тоже нечего, если не считать «Руководства по эксплуатации» к принтеру. Даже Библии нет, вопреки моим первоначальным предположениям. Ночного столика и то нет. Я решаю, что в ожидании остальных, встретиться с которыми я не слишком жажду, можно было бы включить старый телевизор, так и время пройдет быстрее, и тот несчастный сможет полюбоваться не только потухшим экраном. Возвращаюсь в гостиную и включаю телевизор. Там только какие-то идиотские игры, зато, увидев картинку, тип начинает радостно аплодировать. Но боже, что же я наделал? Из своей дежурки, как смерч, вылетает Нелли, быстро нажимает на кнопку. Она говорит мне, что здесь можно смотреть телевизор только после девятнадцати часов, причем не дольше тридцати минут. Потом ужин, потом вечерние процедуры до десяти часов, а ровно в одиннадцать все должны быть в постели. Я говорю, что сейчас уже без десяти. Какая разница, что может случиться? Она находит меня слишком дерзким и решительно одергивает:

— Здесь сколько пациентов, столько историй болезни. Случаи разные, иногда очень тяжелые, вот почему у нас такие строгие правила, и их необходимо выполнять.

Она протягивает мне что-то вроде циркуляра, который забыла дать раньше. Это правила внутреннего

распорядка, уверен, что, если бы Нелли вручила его мне по прибытии, я бы не совершил этих двух страшных преступлений, а именно: не переступил бы кромку гравия и не включил телевизор до девятнадцати часов. Этот пресловутый регламент крайне прост: запрещено все. Запрещено курить, есть или пить в комнатах. Только воду. Категорически запрещено заходить в комнаты других пациентов. Любые сексуальные контакты караются немедленным и окончательным исключением. Запрещено выходить из «гостиницы» без сопровождения «помощника». Находиться можно только на террасе и только до одиннадцати. Дамам запрещено выходить к завтраку в пеньюаре, если под ним ничего нет. Запрещено то, запрещено это, и так две длинные страницы. Я возвращаюсь к себе в «комнату», похоже, у меня начинается ломка. Резкое отлучение от наркотика — это ужас. Я несколько раз пробовал бросить пить, у меня остались от этого такие тяжелые воспоминания, что мне становится действительно страшно при мысли о том, что меня ожидает. Поскольку мне так хочется спать, что я буквально валюсь с ног, я решаю лечь прямо сейчас, причем спать как можно дольше, прежде чем попросить свою долю снотворного. Они не слишком любят его давать, хотя им известно, что только во сне человек не страдает. Мой естественный сон — это всегда пьяный сон.



Проснувшись, я смотрю на часы: около двенадцати. Думаю, я проспал всего каких-нибудь пять часов, на самом же деле сейчас полдень, а не полночь. Со дня моего приезда прошло три дня и две ночи. Чувствую я себя неплохо, даже, можно сказать, хорошо. Меня это удивляет. С желудком все в порядке, голова почти ясная, я пытаюсь встать, но молоденькая медсестра, сидящая у изголовья, останавливает мой порыв, осторожно положив руку мне на плечо. Она объясняет, что выпрямляться я должен не так быстро, некоторое время посидеть на краю кровати и, перед тем как встать, убедиться, что голова не кружится, иначе я упаду. Я ведь, как она уверяет, проглотил столько лекарств, что этого достаточно, чтобы усыпить Троянского коня, а заодно и всех греческих воинов, которые спрятались внутри. Я не чувствую никаких последствий от лекарств, отлучение от алкоголя прошло без всяких мучений. Я не сдох как собака, это не похоже, ну совершенно не похоже на то, что происходит в других лечебницах, где людей заставляют дорого платить за свои пагубные привычки. А в частных клиниках дело обстоит еще хуже. Некоторые идиоты уверены, что для того, чтобы лечение принесло хоть какую-нибудь пользу, нужно помучиться. Так что в случае рецидива больше половины не возвращаются в медицинский центр, рискуя получить тяжелые осложнения, потому что они уже и так достаточно настрадались: корчились на кровати, затянутые ремнями, с иглой катетера, торчащей из вены, извергали с рвотными массами свои внутренности, и никаких успокоительных, чтобы облегчить страдания, разумеется, за исключением случаев белой горячки,

потому что, сами понимаете, остановка сердца — это черт знает что. Но теперь с этим покончено, я преодолел барьер, эту огромную волну, которую в Африке лодки преодолевают с огромным трудом. Я плаваю в спокойных водах, мне даже грести особо не пришлось. Комната у меня мерзкая, правила распорядка идиотские, Нелли — жирная корова, Клоссон — толстый похотливый лицемер, но здесь, по крайней мере, хоть методы гуманные.

Встать все-таки удастся, хотя меня слегка и пошатывает. Медсестра говорит, что завтра я смогу принять душ, сегодня еще слишком рано, я должен отдыхать. Когда с телом так жестоко обращаются, для него это серьезное потрясение. Еще мне необходимо что-нибудь съесть. За последние шестьдесят часов в мой желудок не попадало ничего, кроме сладкой воды. Я, можно сказать, хочу есть. Это тоже меня удивляет. В предыдущих случаях, когда я пытался перестать пить, я за всю неделю с трудом мог проглотить половинку йогурта. Она обещает принести мне поднос с едой и говорит, что завтра, это совершенно точно, я смогу уже обедать в гостиной вместе со всеми. Я не испытываю никакого желания знакомиться с другими пациентами: придется разговаривать, заставлять себя улыбаться. Лучше спокойно сидеть в своем боксе, и пусть моя медсестра приносит еду. На следующее утро нас всех будят в половине восьмого. В какой-нибудь другой день я бы запротестовал, я бы даже разорался, но я так много проспал, что сейчас мне все равно, даже наоборот, всю ночь я ворочался и ворочался в своей постели, мне казалось, что время идет очень медленно. Поскольку мне сказали, что сегодня я смогу принять душ, то этим я и занимаюсь. Но Нелли чуть дверь не вышибает, так она обеспокоена. Я говорю ей, что все в порядке, что вот так к людям не вламываются, но, несмотря ни на что, чувствую себя нашкодившим

малышом. Оказывается, я должен был ее предупредить. Я выхожу из своей лохани, сухо извиняюсь, говорю, что да, в самом деле, я был неосторожен. Она что-то невнятно бурчит, думаю, это означает, что я прощен. Она выходит, я вытираюсь, одеваюсь, еще слоняюсь немного, чтобы потянуть время. Все-таки мне не слишком хочется знакомиться со своими соседями, но в интенсивной терапии я больше не нуждаюсь, подносики с едой в мой бокс теперь носить не будут. Двое парней, которые живут со мной в комнате, уже встали, убрали постели и, наверное, отправились на завтрак. Сделав над собой усилие, я тоже направляюсь в гостиную. Там за столом завтракают несколько человек с растерянным видом. То, чем они травились, можно узнать сразу. Эти, с красными отеками лицами, наверняка алкоголики, а эти, бледные и изможденные, наркоманы. Что там они колют или нюхают, кокаин или героин, одному богу известно. Все можно прочесть во взглядах, блестящих или остекленевших, но, чтобы научиться определять, мне понадобится какое-то время. Клиника доктора Клоссона включена в систему социального страхования, гораздо дешевле лечить кого-то, пока еще есть время, чем взять на себя расходы за десять лет его агонии. В общем, здесь находятся пациенты всех возрастов, всех социальных слоев. Это видно по тапочкам и халатам: есть кашемировые, есть из тонкой фланели. Любители бренди, потребители водки, балдеющие от текилы или опийного мака, в больнице всех можно узнать по одежде. Что касается моего халата, так это ни то ни се: темно-серый цвет у нас в моде, но «у нас в моде» вовсе не означает «в моде у них». Я вижу, что они считают, будто я одет как «собачка Жака». Это здешнее выражение, оно означает «хуже крестьянина». В Париже в таком прикиде я выглядел бы как денди, здесь же меня принимают за примитивного мужлана. Вот вам прекрасный пример столкновения культур.

На завтраке я увидел всего лишь одну женщину, ее реденькие волосы выкрашены в темно-рыжий цвет, она улыбается, старательно прикрывая ладонью рот, чтобы не было видно, что у нее нет ни одного зуба. На вид ей лет шестьдесят, на самом деле — в два раза меньше, как скажет мне один зомби, не такой задолбанный, как другие. Он будет таскаться со мной всюду и везде до того момента, пока я не смогу наконец от него оторваться. Его зовут Труа, он приехал из Оттавы, по-французски говорит, как какой-нибудь Труа из Оттавы, то есть предпочитает, чтобы разговор велся по-английски. Присутствующие приветствуют меня, я обхожу стол, чтобы представиться. Мне это все противно, но я чувствую себя обязанным это сделать, мне ничего не стоит сказать всем «здрасьте». С какой стати быть хамом? В конце концов, сейчас мы с ними оказались в одном вагоне. Каждый по очереди говорит свое имя, я в ответ произношу свое, потом наливаю чашку кофе из огромной кофеварки и сажусь. Черный кофе ужасно крепкий. Без сомнения, кофеин компенсирует другие токсины. Кофе пьют все и помногу, наливают себе снова и снова. Вообще-то я такой никогда не пью, но здесь тоже проглатываю четыре чашки. Нужно быть осторожным, не хочется, выйдя отсюда, лечиться от другого недуга или закончить, как Бальзак, который слишком молодым превратился в статую на бульваре Распай. То же самое в отношении табака. Не успев завершить свой завтрак, эта банда чокнутых закуривает уже по третьей сигарете, причем докуривает ее до самого фильтра, чтобы не потерять ни капли никотина. Спасая печеньку, они портят себе легкие. Не уверен, что государство выигрывает при такой замене.

Встали мы все в половине восьмого, душ приняли, кофе выпили, делать до четырнадцати часов больше нечего. Телевизор включать нельзя, даже чтобы

новости посмотреть. В полдень нам принесут обед: разноцветные макаронные изделия без масла и сыра. Потом все опять вернется на террасу, будут заполнять до краев большую цилиндрическую пепельницу и смотреть на проезжающие мимо автомобили. Без десяти два придут «помощники», разобьют нас на группы по пять или шесть человек и поведут из «гостиницы», вернее блокгауза, в главное здание. Это бетонное здание постройки восьмидесятых годов, выложенное плитами известкового туфа, высотой этажей в десять. Сам Центр расположен на двух последних, остальную часть здания занимают врачи, стоматологи, оптовые продавцы медицинских протезов. Нечего сказать — мы в прекрасном окружении. На самом верху находятся кабинеты доктора Клоссона и его помощников, комната для медицинских сестер и небольшие помещения для переговоров, где ассистенты ведут беседы с потенциальными кандидатами, пытаюсь убедить их в необходимости пройти курс лечения. Этажом ниже, куда доступ строго ограничен, проходят сеансы психотерапии. Есть комнаты для сеансов йоги, массажа и акупунктуры. Все они расположены по длинному коридору, где нет ничего особенного, кроме автомата по продаже сомнительных напитков, работающего на жетонах. Надо будет попросить у Нелли, которая вписывает их в счет наряду с сигаретами и почтовыми марками.

Нас приводят в строгую, без всяких украшений, комнату, где нет даже черной доски. Все рассаживаются вокруг овального дубового стола, покрашенного желтым цветом. Здешний дуб — это наша отличительная черта. Есть здесь обитатели блокгауза, к которым я тоже отныне принадлежу, есть и другие пациенты, которых я прежде не встречал, так сказать, экстерны. Никто не решается заговорить, иногда робко встречаются чьи-то взгляды. Так проходит

минут десять, и вот в комнате появляется человек атлетического сложения с широкой улыбкой.

— Здравствуйте, для тех, кто здесь впервые, представляюсь. Меня зовут Жан, я психотерапевт. Именно я буду лечить вас во время вашего пребывания здесь, хотите вы того или нет.

Его улыбка, становясь еще шире, обнажает лошадиные зубы. Прямо-таки бородатый Жак Брель в рубашке в клеточку. Я уже знаю, что здесь почему-то принято говорить «в квадратик». Этот тип выглядит вполне симпатично, в этом-то вся и проблема, все они выглядят здесь чертовски симпатично. Клоссон и его приспешники способны охмурить даже какого-нибудь бернского банкира, потерявшего сто франков.

Жан тут же обращается ко мне, хотя я изо всех сил втягиваю голову в плечи.

— Поскольку ты здесь новенький, может быть, представишься товарищам?

Я возражаю, что мне трудно говорить перед публикой в первый раз, что в этом-то и причина моего «потребления», именно так принято здесь именовать наше пьянство. Жан отвечает, что понимает меня, успокаивает: я буду говорить только тогда, когда сам этого захочу, никто ни к чему не принуждает, обязательств никаких, единственное, чего он требует, это чтобы завтра я принес свой текст, те самые две странички. Он настаивает, а я-то надеялся, что о них забыли. Все так же улыбаясь, он дает слово маленькому серому человечку, одетому в серое. Он встает, немного смущаясь, потом, не отрывая взгляда от своих ботинок, все-таки решается:

— Меня зовут Бернар, я алкоголик...

Все дружно ему отвечают:

— Здравствуй, Бернар!

Человечек начинает рассказывать про свою жизнь. Его дети женились и покинули родительский кров, жена

в один прекрасный день его бросила и сбежала к другому, она уже давно его обманывала, но он молчал, потому что любил жену и хотел ее сохранить, он был готов смириться со своей участью, несмотря на то что она осыпала его бранью, обращалась с ним, как с собакой, называла гнусным червем, ублюдком, полным ничтожеством. Коллеги по работе в открытую смеялись над ним, показывали рожки, стоило ему выйти за дверь. Он стал пить после работы, сначала одну-две кружки пива, потом, когда и большее количество пива уже не давало нужного эффекта, настало время виски с содовой, потом, поскольку жена орала на него не переставая, чтобы не слышать ее воплей, он стал возвращаться домой все позже и позже, начал складывать пустые бутылки в автомобиле, пил уже и на работе, сделался раздражительным, хамил клиентам страховой компании, на которую горбатился. Его уволили, работы у него больше нет, детей нет, жены нет, в общем, банальнейшая история алкоголизма. Но он рассказывает настолько искренне, на глазах у него слезы. Он говорит, что исковеркал свою жизнь, и в изнеможении падает на стул. Присутствующие, как ни странно, аплодируют.

Наступает очередь следующего, вернее, следующей. Услышав свое имя, поднимается какая-то девица, затянута в джинсы, сверху плоская, внизу толстая, грязные каштановые волосы перемежаются рыжими прядями.

— Здравствуйте, меня зовут Луиза, я наркоманка и проститутка.

Народ, в свою очередь, приветствует ее:

— Здравствуй, Луиза.

Следует душераздирающий рассказ двадцатилетней девушки, которая начала продаваться еще в школе, когда ей было тринадцать лет, чтобы купить кокаин в тот день, когда она не смогла купить

себе героин. По-настоящему она начала этим заниматься из-за одного мальчика-дилера, чуть старше ее по возрасту, он торговал наркотиками на улице и оплачивал ей дозы, а потом бросил ее, и она сама начала зарабатывать деньги. Сначала минетом в мальчиковых душевых, потом настала очередь друзей отца, потом друзей друзей, потом были кто попало. Она рассказывает о своих клиентах, которых обслуживала в автомобиле, на минус четвертом этаже грязной парковки, о том, как она запускала руки в ширинки штанов под столиками в барах, о пьяных угарах мальчишников по субботам, все эти штурмы, сверху, снизу, пары, обменивающиеся половыми партнерами. Она рассказывает нам обо всем этом почти без всякого выражения, словно речь идет не о ней, а о ком-то другом. Ее семья, друзья тоже ее отвергают, у нее тоже никого не остается, она хочет, чтобы кто-нибудь помог ей избавиться от всего этого, главным образом от наркотиков. Слушать все это ужасно, но, когда она садится на свое место, все опять аплодируют.

Потом переходят к следующему.

— Здравствуйте, меня зовут Марк, я алкоголик...

И так по меньшей мере четыре часа кряду. Сеанс заканчивается около половины седьмого. Возвращение в бункер в надлежащем сопровождении. На ужин жирная курица а-ля Вайанкур, и никакой тебе сигаретки на террасе: времени нет, пора на вечернюю терапию. В другой большой гостиной расставлено около тридцати стульев и табуретов. Нам должны показать какой-то фильм по видео. Проходит слух, что это будет «День вина и роз» с Джеком Леммоном и красавицей Ли Римик, где он играет алкаша, а она хорошую девочку. Он коварно толкает ее на путь алкоголизма, она попадает в ловушку и сама становится алкоголичкой, между тем как ему удастся справиться с недугом. Это не какая-нибудь дешевая мелодрама, фильм классный,

я уже видел, но ради Ли Римик готов смотреть его еще сотню раз. Но слух оказывается ложным. Показывают какое-то мексиканское барахло. Некий до смерти пьяный тип, сидя за рулем, сбивает на дороге юную девушку. Она выживает, но остается калекой. Он хочет жениться на ней, чтобы загладить вину, но она отказывается. У мексиканок собственная гордость. Он топит тоску в алкоголе и хочет застрелиться, но промазывает. Тогда она понимает, что этот тип ее действительно любит, и в конце концов говорит мужику «да». Он разбивает о стену свою бутылку, и они женятся. Хеппи-энд, искупление, у всех присутствующих набегают слеза. По окончании фильма обсуждение, дебаты об опасности алкоголя за рулем, все дружно соглашаются, отчасти потому, что это правда, но в основном потому, что всем все осточертело и хочется поскорее отсюда выбраться. Тогда «помощники» опять сопровождают стадо в стойло. Все как один отправляются курить сигареты и смотреть на проходящие машины, а я возвращаюсь в свой бокс. По пути в комнату я встречаю Марка, третьего придурка, который разорвался сегодня днем на сеансах публичного откровения. Мы пожимаем друг другу руки и перебрасываемся парой слов. Он спрашивает, как я здесь оказался. Я ему рассказываю о том, как выбросил в окно одежду жены, сложил все в огромную пирамиду, оросил скипидаром и поджег, как разгневалась соседка, а я попытался скрыться. Тот смотрит на меня, давясь от смеха. Я-то полагаю, что моя история забавляет его, но все совсем не так, он считает меня жалким дилетантом, ведь сам он поджег весь дом.



На следующий день все то же самое: пробуждение, кофе, машины, групповая терапия, где на этот раз нам предлагается описать один день без алкоголя, как мы себе его представляем. Потом вечер и курица на ужин, фильм на кассете, а за ним обсуждение и снова автомобили на улице Папино. Мне бы хотелось этим вечером послоняться по террасе в ожидании отбоя, curriculum я не напишу, даже если Жан опять меня об этом попросит. С тех пор как Марк обозвал меня дилетантом, у меня пропало всякое желание рассказывать кому-либо про свою жизнь, даже про одну минуту моей жизни. Все мои истории стали казаться мне ничтожными с начала и до конца, от предложенного Превером бокала до костра из шмоток в саду. Это не Тристан и по большому счету не Герострат. То же самое касается моего дневника. Чтобы его вести, нужно продолжать ежедневно посещать эти пресловутые сеансы терапии, но об этом не может быть и речи. Мне хватило двух дней, чтобы понять, в чем состоит этот так называемый метод «Миннесота». Вначале нас помещают в обстановку по возможности самую унылую, причем это уныние и убожество словно специально подчеркивается — если не считать безукоризненных душевых. Им нужны пациенты в депрессии, но пусть эти пациенты будут хотя бы чистыми, ну и потом, существуют службы санитарной инспекции, и они бдят. Кормят нас изо дня в день одним и тем же: сухие макароны на обед, жирная курица на ужин. Поднимают очень рано, но начинают нами заниматься лишь семь часов спустя. Делать здесь решительно нечего, кроме как тупо сидеть перед переполненной окурками пепельницей и смотреть, как

по улице едут машины. Добивают нас с помощью дурацких фильмов, жалких историй на сеансах групповой терапии. В течение четырех недель унижают, уничтожают, а потом, в последние дни, когда все сломлены, раздавлены, унижены, они могут нас «восстановить». Нас выслушают, зная, что спасение заключается в их речах. Если они будут проповедовать воздержание — значит, будем воздерживаться хотя бы в течение какого-то времени, если скажут принимать наркотики — будем принимать наркотики. И такому методу можно следовать до скончания веков. Все хорошо продумано. Такие штуки могут прекрасно срабатывать с людьми податливыми, пациентами послушными и внушаемыми, но это совершенно не подходит индивидуумам, для которых независимость в буквальном смысле слова жизненно необходима. Если бы я смог объяснить это моей собственной блондинке, уверен, что можно было бы попробовать что-нибудь и получше, чем оболванивание и промывание мозгов «Джордж Оруэлл у Диккенса». Но позвонить домой невозможно, это, разумеется, запрещено регламентом. Мобильники они забирают, а стационарные телефонные аппараты охраняются днем и ночью. В Париж вернуться тоже невозможно, билета у меня нет, все в их сейфе. Чарли сдал меня сюда под расписку, без него я выйти не могу, а с ним связаться тоже не могу, он на гастролях. И потом, выйти вот так, попытаться отыскать Вика — это дело не пройдет. Они нас пересчитывают утром, пересчитывают вечером перед показом фильма, зомби-охранник-каторжник бдит на посту, получив строжайший приказ в случае бегства вызывать полицию, в их компьютерах наши фотографии, мы здесь «психические заключенные», запертые на совершенно законных основаниях. Они вообще могут держать нас здесь *ad vitam*.^[38]

Единственная возможность выйти отсюда — это спровоцировать их выставить меня за дверь. Я мог бы попытаться использовать «сексуальный контакт», который, как следует из регламента, карается «немедленным и окончательным исключением», но под рукой у меня здесь только несчастная девица с каштаново-рыжими реденькими волосиками, а заключать ее в объятия не захочется никому, даже ради того, чтобы выбраться из тюрьмы Алькатрас.

В ожидании, пока Чарли вернется с гастролей и заберет меня отсюда, я буду проводить время, играя с ними в прятки, держать под языком таблетки, которые они мне дают. Я видел, как это делал Николсон в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Я быстро понимаю, какую выгоду можно извлечь из расположения Центра «дуплексом» на двух последних этажах главного здания и из того обстоятельства, что там царит чудовищный бардак. Люди постоянно входят и выходят, здесь и родственники пациентов, пришедшие за новостями, и сами бывшие пациенты, которые толпятся вокруг Центра, как поросята вокруг свиноматки, не способные встретиться лицом к лицу с внешним миром, и целители всякого рода, которые либо постоянно работают здесь, либо приехали из других городов. В общем, настоящий проходной двор. Поскольку я появился в бункере лишь позавчера, примелькаться не успел, то меня никто не знает, кроме доктора Клоссона и Жана. Достаточно не попадаться на глаза этим двоим, и дня через два я просто-напросто сольюсь с мебелью. Если в Центре этажом ниже проходит общее собрание, я тут же придумываю, что мне нужно к кому-нибудь из «верхних» врачей. Когда меня и в самом деле требуют наверх, я спускаюсь на массаж или акупунктуру к хорошенькой Морин. Даже Труа не удастся меня отыскать: когда он едет в лифте, я оказываюсь на лестнице, а когда спускается пешком,

я сажусь в лифт. Когда мне было шесть лет, меня поместили в пансион, из которого я вышел в шестнадцать. Мне прекрасно известны все приемы, хитрости, уловки, самые изощренные махинации, лишь бы не делать того, чего я не желаю. И ни Труа, ни кто другой не сможет меня поймать, если я так решил. Около четырех часов я отправляюсь на стоянку и выхожу через заднюю дверь. Осторожно проскальзываю мимо сторожа, который уже через несколько дней начинает со мной вежливо здороваться.

Инвалидов здесь принимают на каждом этаже, и какой-нибудь хромой в уголке — самое обычное дело. Стоит мне завернуть за угол, как я тут же чудом исцеляюсь, еще два дома — и я оказываюсь в своем салуне. У Люси я освоился очень быстро. Если я и не был самым нарядным клиентом ее заведения, то самым любимым я был точно. Ей очень нравился мой стиль. Она говорила, что все прочие, которые ее обхаживали, были скорее в жанре «Трамвай „Желание“», причем не столько «желание», сколько «трамвай». А вот человек вроде меня — это совсем другое дело, это вносило в ее жизнь разнообразие. От меня не разило дешевым пивом, на мне не болтались грязные треники, я печатал ей на своем компьютере сонеты Шекспира и носил букетики из трех анемонов, украденных из цементных вазонов у родильного дома. Но особенно ей нравилось, когда одну за другой я вынимал заколки из ее волос. Другие, можно не сомневаться, опрокидывали ее прямо так.

Однажды без всякого предупреждения она дала отставку своему приятелю, бойфренду, или как это у них называется по-квебекски, и стала принимать меня днем. С тех пор, мало того что мне удавалось избежать унылых макарон, она еще и баловала меня всевозможными гамбургерами: с сыром, с беконом, с сыром и беконом. Восхитительно вкусно! Их кладут

между двух булочек с мякишем настолько белым, что кажется, никаких злаков там нет, все это обильно сдабривается кетчупом и майонезом, а калорий здесь столько, сколько в десяти дежурных блюдах. После обеда она запирает кухню, и мы вдвоем отправляемся наверх, оставив клиентов обслуживать себя самим. Они платят на завтра или оставляют нужную сумму без сдачи на кассе. В спальне Люси столь же щедра, как и у плиты. Свой шиньон она вновь накручивает не раньше десяти вечера, так что днем сюда является куча любителей дармовщины, и по меньшей мере один стакан из двух выпивается на халяву. Со дня моего появления у Клоссона я ни разу не притронулся к алкоголю, лечения я не получаю тоже, проводя утренние часы у моей акупунктурщицы, а вечера у Люси. Я остаюсь здесь до того момента, когда, по моим расчетам, должен заканчиваться фильм, которым психотерапевты терзают пациентов. Целую свою хозяйку и пешком, не торопясь, возвращаюсь обратно в казарму. У них идет обсуждение, а я между тем поджидаю их на пересечении улиц Шербрук и Папино. Стою у перегородки между двух мусорных баков и, когда группа проходит мимо, я к ней присоединяюсь, вхожу со всеми в гостиницу как ни в чем не бывало. Когда Труа заканчивает считать баранов, он уверен, что все в порядке и на переключке присутствовали все, я ложусь в постель при тусклом свете исламистского ночника и засыпаю наверняка с улыбкой на губах.

Дни текут спокойно, я больше не хочу возвращаться во Францию, напротив, три недели счастья проходят, как мне кажется, очень быстро. Я дни напролет наслаждаюсь в своем раю для раскаявшихся алкоголиков и наркоманов. Одна красавица втыкает в меня иголки, у другой я сам вытаскиваю булавки из волос, и так продолжается до того самого дня, когда я, совершенно случайно, оказываюсь у пустого кабинета.

От двери, которую кто-то оставил открытой, я вижу на столе брошюрку под грифом «Строго секретно». Я тут же уношу ее, спрятав под рубашкой, и отправляюсь в ванную комнату, чтобы прочитать без помех. Я обнаруживаю, что это нечто вроде учебного руководства для персонала «Надежды и обновления». Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто Клоссон и компания — лица совершенно незаинтересованные, а финансовая сторона деятельности Центра является аспектом второстепенным. Но шокирует меня не это, а другое: выражение «с божьей помощью» встречается все время, раз десять на каких-нибудь пяти страницах. Похоже, я попал в лапы последователей секты катаров, нового воплощения «Храма Солнца», не иначе. Прямо из этого пустого кабинета я звоню Чарли. Кто знает, а вдруг он уже вернулся из поездки? Трубку снимает Виктор. Неслыханная удача — его отец только что вернулся, но снова уезжает, гастроли еще не закончились. Необходимо, чтобы он как можно быстрее приехал и забрал меня отсюда.

— Чарли, моя жена и ты поместили меня в секту!

— Что ты такое говоришь?

— Говорю тебе, это секта! Немедленно приезжай за мной!

Чарли отвечает:

— Ладно, сейчас еду...

Но, повесив трубку, я прохожу мимо канцелярии и слышу, как именно в этот момент телефонистка говорит:

— Не кладите трубку... Господин Вуд на второй... Даю вам ассистента доктора Клоссона, у доктора сейчас пациент...

Похоже, предатель решил, что я сошел с ума, может, из-за ломки, может, из-за медикаментов, и тут же их предупредил, что несучерт знает что. Тетка, напомнившая мне громилу из «Спектрума», приносит

облатку, которую пытается запихнуть мне в рот. Я кусаю ее за руку, она вопит от боли, но я начинаю орать еще громче, чем она.

— Немедленно верните мне мой билет на самолет, кредитные карты и паспорт, я не останусь здесь больше ни минуты! Это неслыханно! Я британский подданный, вы не имеете права лишать меня свободы! Я требую, чтобы предупредили мое консульство!

В этот момент как раз возвращается доктор и слышит конец моей обличительной речи. Он немедленно вмешивается. В холле стоят три десятка человек, будущих «больных», которые после того, что здесь услышали, могут, чего доброго, передумать лечиться в Центре. А я тем временем громогласно продолжаю, беря всех желающих в свидетели:

— Это Гуантанамо, это хуже, чем ГУЛАГ! Срочно предупредите «Международную амнистию!»

Доктор смущен, он берет меня за руку, голос его, как всегда, слащаво-участливый.

— Успокойтесь, друг мой, все будет в порядке. Если вы не желаете больше у нас оставаться, вы можете уехать. Мы здесь никого насильно не задерживаем. Вам все вернут: ваш билет на самолет, деньги, вам забронируют рейс на Париж прямо на сегодняшний вечер, только, прошу вас, успокойтесь...

Я спускаюсь в блокгауз собрать вещи, один из зомби намеревается меня сопровождать, но, заорав нечеловеческим голосом, я так напугал его, что он побежал сломя голову и, думаю, не остановился до сих пор. Собрав чемодан, я вновь поднимаюсь в кабинет за своими документами и кредитными карточками. Оказавшись в помещении администрации, я узнаю, что у меня уже есть место в самолете на сегодняшний вечер, они и в самом деле времени не теряли. Пока я проверяю, все ли барахло мне вернули, появляется Клоссон. Я боюсь, а вдруг он передумал, и готов уже

вновь начать выкрикивать свои обличения, но он делает мне знак следовать за ним, причем так учтиво, что я спрашиваю себя, что он еще затевает. Он протягивает мне только что полученный факс: это Тина, жена Рейнхарта, еще одного моего приятеля, певца, у которого тоже проблемы с алкоголем. Когда я уезжал, он целыми днями просиживал за стаканом анисовки в баре «Клозери», любимом месте водопоя Хемингуэя. Наверное, он стал настолько невыносимым, что жена решила прогнать его на улицу Папино. Судя по всему, кто-то из наших позвонил в клинику, чтобы узнать, все ли в порядке. Бог знает какая секретарша, очевидно, отделалась очередной дежурной фразой вроде: «Лечение проходит нормально, наблюдается улучшение». Тогда в Париже, видно, решили, что Центр — это замечательное место. Если уж получается со мной, то и с ним получится тоже. Я должен во что бы то ни стало их предупредить, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мой приятель попался в эту ловушку. Мало того что он тоже человек не слишком податливый, он просто может здесь взбеситься. Я бегом отправляюсь к Люси и звоню во Францию. Там все время занято. Дозвониться удастся слишком поздно; кухарка говорит мне, что они уже уехали, самолет взлетел часа два назад и они теперь, должно быть, пролетают над Швейцарией. Ну что ж, тем хуже для них. Я больше ждать не могу, у меня вечером самолет, я должен вернуться домой. Я звоню Чарли и спрашиваю Виктора, не может ли он уделить мне два часа, чтобы подбросить в аэропорт. Я бы мог, конечно, вызвать такси, но мне так хочется с ним поздороваться, ведь я не видел его уже года два. Он отвечает:

— О'кей, у меня есть пара свободных часов, сейчас беру машину и заеду за тобой.

Я спускаюсь в дортуар, чтобы забрать чемодан. В общей гостиной включаю телевизор. Сейчас только пять

часов, но Нелли не решается даже носа высунуть из своего дежурного помещения. Мой маленький скандал принес свои плоды. Теперь Марио получит возможность комментировать не только потухший экран. В сущности, это единственный человек из всего этого барака, который мне нравится. Я ему тоже очень нравлюсь. Иногда по возвращении из салуна я приношу кусочек пирога или гамбургер. Хоть какое-то разнообразие. Ему тоже осточертели эти безвкусные макароны. Однажды он, с трудом подбирая слова, рассказал мне, что раньше был хозяином предприятия, пользовался репутацией соблазнителя и на него всегда «вешались женщины» — так здесь принято говорить, — что он носился по Монреалю на своем «порше-911» со скоростью двести километров. Потом он, что называется, стал злоупотреблять: килограммы кокаина, литры водки. И вот он тоже зомби, причем ситуация у него хуже, чем у других. Потерянные нейроны не восстанавливаются. Он видит мой чемодан и понимает, что я уезжаю. Мы обнимаемся, он тут же обо мне забывает и погружается в созерцание очередного хоккейного тайма. Я выхожу на террасу и усаживаюсь на стул в ожидании Вика. Тут подходит Клоссон. Он, оказывается, меня ищет, он умоляет меня не уезжать. Если я не останусь, то Рейнхарт улетит первым же рейсом. Я единственный, как он утверждает, кто может убедить его лечиться, ведь он так мне доверяет, а про Тину и говорить нечего. Это настоящий шантаж. Они здесь в клинике все люди светские и хотят принимать у себя людей известных, вроде Бетти Форд, и готовы на все, чтобы те приехали. Толстый психиатр предлагает мне сделку: я смогу уходить, когда захочу, могу оставить при себе все кредитные карты, канадские доллары, я отныне буду считаться гостем, другом певца, а вовсе не пациентом. Я говорю «нет, нет и нет», мне осточертела его грязная «гостиница», его зеленый неоновый свет, гнусное

турецкое общежитие, макароны без масла и сыра, окурки, которые вываливаются из переполненной пепельницы, машины, которые проезжают по улице Папино, я хочу вернуться к себе. Появляется Вик за рулем своего роскошного автомобиля, я вскакиваю на переднее сиденье, мы бросаем Клоссона перед блокгаузом. Направление — Дорваль, аэропорт Пьера Элиота Трюдо.



В зоне отлета мы паркуемся где попало, без всяких правил, благодаря гербу города, который красуется у него на ветровом стекле. Я забираю чемодан, Вик идет за мной в зал аэровокзала, он хотел бы поздороваться с Рейнхартом и Тиной, которые должны приземлиться с минуты на минуту. Он тоже не видел их обоих очень давно, с тех пор как в Морин-Хейт неожиданно для всех заявила съемочная группа популярной телепередачи «Скрытая камера», чтобы подловить парижского певца. Они знали, что он каждый день выходит на лодке на середину озера и ловит удочкой рыбу. Водолаз должен был незаметно подплыть к лодке и осторожно прицепить к рыболовному крючку лох-несское чудовище три метра в длину. Идея была неплохая, но что-то там не сложилось, по каким-то причинам это так и не было снято.

Самолет из Парижа только что приземлился. Скорее всего, я полечу тем же самолетом, он наверняка прямо сейчас возвращается в Руасси. На взлетной полосе уже толкуются грузовички, суетятся пожарные, самолет моют, что-то где-то подкручивают, привозят еду для пассажиров первого класса. Как известно, подносы для второго загружают за два дня до этого во время промежуточной посадки в Минске. Мои друзья благополучно проходят таможду, без всякой конной полиции. Он-то не принимал никаких тошнотворных пилюль, совсем наоборот, в магазинчике дьюти-фри он купил две бутылки пастиса, анисового ликера, которые и приговорил за время полета. Он смертельно пьян, держится на ногах буквально чудом и, совершенно обессиленный, приветствует меня нечленораздельным мычанием. В Центре Тина не сможет остаться с ним

вместе: в блокгауз допускаются только те, кто проходит курс терапии. Даже если она тоже на него запишется, все равно врачи не допустят, чтобы они жили в одной комнате. Ей придется поселиться с этой, ощипанной. Но я как-то плохо себе представляю, что она способна изо дня в день есть сухие макароны и жирную курицу, ложиться спать в одиннадцать, сидеть на террасе рядом с переполненной пепельницей, из которой вываливаются омерзительные окурки, и тупо смотреть на проходящие мимо машины. Она выдержит день или два, не больше. У меня нет никакого желания туда возвращаться, но вообще-то Клоссон прав, было бы преступлением отпустить Рейнхарта обратно в Париж, он так и будет опустошать запасы анисовки в столице и загнется в один прекрасный день. Ладно, согласен еще на одну попытку, выбора у меня нет.

Вик везет нас обратно в город, направление — улица Папино, но нет и речи о том, чтобы отправиться прямо в клинику. Рейнхарт, как и я, хочет провести ночь в Монреале, прежде чем «пять недель подышать от тоски среди алкашей». Мы звоним в бюро Розона, там хорошо знают пару, им находят комнату в гостинице, куда селят гостей фестиваля. Мы закидываем чемоданы и отправляемся ужинать в открытую беседку итальянского ресторанчика. Со дня своего приезда я впервые выхожу куда-то вечером. Я с интересом рассматриваю зал. Как давно я не видел столько нормальных людей, собравшихся в одном месте! Тина очень довольна, что оказалась в Квебеке, она обожает город, у нее здесь много друзей, ночь не слишком жаркая, вечер обещает быть веселым. Рейнхарт ничего не ест. Обычно у него прекрасный аппетит, особенно когда мы ужинаем в итальянском ресторане, но сегодня он не притрагивается даже к двойному анисовому ликеру, который сам и заказал. Значит, дело с ним совсем плохо. Здесь не принимают банковские карты,

мне приходится согласиться, чтобы за меня заплатили, мы расстаемся, и я возвращаюсь спать в свою конуру. Дверь они запирают в половине одиннадцатого, звонить бесполезно, после этого времени они все равно никому не откроют, а комнаты в городе я не найду, даже в «Четырех временах года»: как гласит табличка, свободных номеров нет. К гостям фестивалей смеха или джаза прибавились теперь и люди, приехавшие со всех стран, чтобы почтить память Риопеля, которому здешние власти решили посвятить выставку-ретроспективу в Музее современного искусства.

Ночью у Рейнхарта случился ужасный приступ белой горячки. Две полные бутылки анисового ликера — такое вынесет не каждый, ни Чемпион Джек, ни Троянский конь. В своем номере ему повсюду мерещатся тайные агенты кубинской полиции, которые явились, чтобы его прикончить. Надо сказать, что на предплечье у него вытатуирован тридцатисантиметровый Че Гевара, а поскольку Фидель сделал не слишком много, чтобы помочь своему другу, я прекрасно понимаю, почему мой собственный друг так боится шпионов. Приведенные в бешенство его криками, сотрудники гостиницы вызывают полицию. Мебель в номере раскидана, он побросал ее в полицейских ищеек Гаваны, телевизор разбивается вдребезги о дверь в тот самый момент, когда в дело вступает начальник службы безопасности, врываются полицейские, которых он в своем безумии принимает за агентов ЦРУ, а поскольку ЦРУ он и на дух не переносит, он прогоняет их, подняв ночной столик и вращая его над головой. Осколки дерева, грохот, щепки, всеобщая неразбериха. Его скручивают. Укол и «скорая помощь». К счастью, Центр — это учреждение широкого профиля, здесь принимают даже эпилептиков, иначе наш приятель оказался бы бог знает в каком приюте и Тина нашла бы его разве что через неделю, не раньше.

С Рейнхартом дело обстоит еще хуже, чем со мной. Он выпил слишком много за короткое время, Клоссон явился к его изголовью собственной персоной. На нем очень красивый халат, камвольная шерсть, может, ангора. Моих соседей перевели в другую комнату, а кровати оставили, чтобы санитары могли здесь время от времени отдыхать по очереди. Дверь своего бокса я оставил открытой: мне хочется увидеть, что эти люди делали со мной, когда я сюда поступил. Два человека сменяют друг друга, по очереди садясь на один стул, они весьма обеспокоены, это можно понять по интонации и по словам, которыми они обмениваются вполголоса между двумя процедурами. Их жесты четко выверены, когда они меряют ему пульс, температуру, когда заставляют пить, приподняв голову, но не будят его, а подслащенная жидкость медленно течет в его горло. Я сплю не больше, чем эти типы в белых халатах, когда на исходе второго дня температура наконец падает и санитары, похоже, вздыхают с облегчением. Я, так уж и быть, соглашаюсь отправиться в постель и сплю как убитый восемь часов подряд.

Утром через перегородку я слышу, как орет Рейнхарт:

— Черт побери! Где мои сапоги?

Если он спрашивает, где сапоги, значит, ему гораздо лучше. Он стоит на кровати совершенно голый, ему хочется в туалет, но он категорически отказывается идти туда без любимых сапог с острым носком и скошенным каблуком. Санитары бегут за ними, он их наконец натягивает и вот, в сопровождении фельдшера, направляется в туалет. В этот момент входит Нелли и спрашивает, что он тут делает голый.

— Я не голый, я в сапогах, — отвечает ей Рейнхарт.

Нет, в самом деле, ему значительно лучше. Уложив его снова, санитар заходит ко мне в бокс и говорит,

позволив себе перевести дух после стольких беспокойных часов:

— Вы не должны были ему позволять так пить, это такое легкомыслие, он ведь чуть не умер...

Рейнхарт, как и Чарли, обладает поистине возмутительным здоровьем. На следующий день он уже на ногах, пожирает тарелки макарон без масла и сыра, но ему наплевать, он обожает макаронные изделия даже без ничего, лишь бы это были макароны. Он смотрит на проезжающие машины, покуривая на террасе, как и другие. Выглядит он совершенно нормально, если не считать периодически повторяющихся видений. Например, он описывает зверинец, который копошится у его ног, по гравию носятся стада крошечных животных.

— Смотрите, львы... И зебры! Какие хорошенькие, эти зебры...

Он успокаивается. Но через какое-то время его внимание привлекает нечто или некто на тротуаре напротив. Он выкрикивает имя, зовет своего брата, я опасаясь, как бы ему не вздумалось перебежать дорогу, чтобы подойти к нему: здесь очень насыщенное движение. К счастью, приставленный к нему санитар готов схватить своего пациента при малейшем движении. Рейнхарт возвращается на землю и описывает свои видения со здоровым прагматизмом. Он находит их забавными. Санитар успокаивает его, говоря, что это что-то вроде эха, отголоска его белой горячки, потом это станет слабее и впоследствии исчезнет совсем. Мой приятель затихает. Насколько я знаю, к незнакомым людям он относится подозрительно, но своему новому ангелу-хранителю почему-то доверяет. Когда наступает время обеда, я покидаю его, чтобы отправиться к Люси и что-нибудь там съесть, уже не прячась ни от врачей, ни от толстой Нелли. Я вхожу в бар. Все старательно смотрят в

другую сторону. Рядом со стойкой примостился какой-то курчавый верзила — решив, что я отбыл в Париж, Люси тут же нашла мне замену.

Через несколько дней, хотя я и не делился с ним своими выводами, Рейнхарт тоже понял принцип функционирования этой конторы. Он старательно притворяется, будто еще слишком слаб, чтобы начать курс терапии, так что ни Нелли, ни врачи не решаются его трогать. Нас оставляют в покое. Целыми днями мы, как два немощных старичка, сидим на своих стульях в ожидании вечерней курицы. Его мобильник заперт в сейфе, телефоны в кабинетах охраняются, а там, в Париже, продолжается жизнь. Изоляция тяготит его, он просит Тину отдать ему свой телефон. Теперь, когда он цел и невредим, она может его навещать, но только на террасе. Никто не имеет права заходить в комнаты, и, во всяком случае, если верить Клоссону, чтобы лечение было успешным, лучше бы вообще полностью исключить всякие визиты. Поскольку он выкарабкался и теперь в порядке, она думает, что прямо сейчас можно вернуться в Европу, но Рейнхарт уже отнюдь не тот человек, что раньше. Увидев через несколько дней, что с ним сделалось, она передумывает, устраивается у Розона и остается в Монреале. Из своей комнаты ей приходится выехать, так как номер уже забронировала с сегодняшнего вечера какая-то французская телеведущая. Она явится в восемь часов в сопровождении всех своих любовников, числом пять, как считает полиция, шесть или семь, по мнению организаторов. Пока мой приятель без остановки звонит по всей Франции, я поднимаюсь в здание и отправляюсь к Морин, моей прекрасной шотландке. Она трудится сразу в двух комнатах, переходя из одной в другую через свой кабинет, крошечное помещение посередине. Именно там я ее и дожидаясь. В самый первый раз, когда я увидел свою рыжую красотку, я был настроен

несколько скептически относительно результата. В акупунктуру я не верил и, как оказалось, был не прав. Тогда я был взвинчен, возмущен перспективой больше месяца подыхать со скуки в бункере. Она, увидев меня такого, с нервами на пределе, стимулировала определенные точки на лбу и солнечном сплетении, и я вышел оттуда совершенно спокойным, чувствуя умиротворение и безмятежность. Правда, это состояние продлилось недолго, и уже на следующий день я туда вернулся, не зная, что пациент имеет право на такую процедуру лишь раз в неделю. Но она ничего не сказала, ее даже позабавило то, что я вернулся так быстро. Поскольку она не могла назначать мне процедуры, минуя регистратуру Центра, я стал дожидаться ее в кабинете между двух пыхтящих под иголками пациентов. Я рассказывал ей про свою конуру, про неоновые лампы, холодные макароны, ей это все казалось забавным. Мы очень быстро сделались друзьями, потом больше чем друзьями. В соседних комнатах посапывали морские ежи, когда она со своими иголками уходила около пяти часов, чтобы отправиться в другую клинику, где занималась тем же самым. Мы долго-долго прощались, иногда так долго, что она снова оказывалась полуголой, но потом все-таки грациозно выскользнула из моих рук: опаздывать ей не хотелось. Тогда я спускался на стоянку, выходил из здания через заднюю дверь, хромал до угла, потом сломя голову неся к Люси, сорвав по дороге парочку анемонов. Это было не слишком порядочно, я бы даже сказал, подло, но что я мог поделать? Если извечный выбор «Битлз» или «Роллинг стоунз» больше не имел смысла, то, толкая дверь моей красавицы в салуне, я вновь становился ярым фанатом «Роллинг стоунз».

Вечером мы одеваемся. Вернее, одеваемся только мы с Тиной, Рейнхарту на это наплевать, он не хочет вылезать из своих сапог даже при сорока в тени.

Втроем отправляемся ужинать в какой-нибудь ресторан, в бункере никто не решается нам и слова сказать. Со своей верхотуры Клоссон дает понять, что недоволен, он считает, будто мы подаем дурной пример, но, когда мы сталкиваемся с ним, он — сама улыбка, он только полагает, что певец должен попробовать сеансы психотерапии. Как ни странно, в один прекрасный день тот соглашается. Если бы директором Центра был я, я бы насторожился. На следующий день Нелли собственной персоной заходит за ним в спальню. И речи нет о том, чтобы он тащился на улицу Шербрук вместе со всем стадом. Меня на эти групповые сеансы не приглашают, я здесь просто гость, в этом положении есть свои достоинства и недостатки, так что я остаюсь внизу, довольствуясь тем, что разыгрываю в голове воображаемую сцену: мой приятель поднимается с места, когда Жан, в свою очередь, велит ему представиться.

— Здравствуйте, меня зовут Рейнхарт.

— Здравствуй, Рейнхарт.

— Рейнхарт, надо, чтобы ты сказал, что алкоголик, это часть работы над собой, — настаивает Жан.

— Ладно, я алкоголик. Но я хочу остаться знаменитым алкоголиком, анонимный алкоголик — это не по мне.

Жан улыбается уже меньше. Тогда Рейнхарт обращается непосредственно к присутствующим:

— Вы все здесь потому, что пристрастились к тому или иному наркотику. Я сейчас вам объясню, что следует делать, чтобы избежать ловушки. Выслушайте меня, это просто: в понедельник алкоголь, во вторник кокаин, в среду гашиш, в четверг амфетамины, в пятницу героин, в субботу экстази, в воскресенье ЛСД, в Рождество и праздники полная свобода действий — морфин, эфир, мескалин, все, что хотите. Если будете

соблюдать такой режим, никакого привыкания не наступит.

Жан уже совсем не улыбается.

Рейнхарт возвращается с терапии один, наверное, они предпочли продолжать без него. Я не решаюсь спросить, как там все было, мне прекрасно известно, что единственным ответом будет невразумительное ворчание. Он говорит, что хотел бы немного прогуляться по городу, я согласен. С Люси все кончено, а другие салуны меня не интересуют. Мы садимся в такси, он намерен ехать к Тине. Я не хочу им мешать и собираюсь сбежать по-английски, чтобы отправиться на выставку-ретроспективу Риопеля в Музее современного искусства. Вообще-то я пообещал Чарли его дождаться, но выставка продлится всего месяц, пока она доберется до нас, пройдет лет двести. И потом, он-то встречался с художником, он часто мог любоваться его произведениями, а я знаю только картины, и вот сегодня я отправляюсь на встречу с ним самим.

Я прохаживаюсь по залам и понемногу открываю для себя удивительные работы. В принципе я знал, что такое *dripping*, но, как, наверное, и большинство, был знаком только с Джексоном Поллоком.^[39] На фотографиях я видел несколько полотен квебекского мастера, а еще на афишах в Париже, но ничего в натуральную величину. Здесь же вас словно подхватывает вихрь, водоворот, все искривлено, искажено, порой очень жестко и резко, но при этом чертовски поэтично. Наполненный силой, исходящей от этих полотен, я оказываюсь в последнем зале, где висят двенадцать огромных панно, изображающих времена года, движения становятся такими мягкими, осторожными, это великолепно. У входа царит мольберт, усыпанный пятнами краски, Риопель умер уже месяц назад, он давно ничего не писал, но дерево еще

пропитано льняным маслом, чуть сладковатый аромат парит облачком по всей выставке. Даже если человек ушел, по запаху можно понять, что он недалеко.



Кто-то стащил компьютер у нашего чудо-доктора, разбив стекло его громадного «ниссана» ударом лома. Копий на жестком диске у него нет, он никогда их не делал, боялся любопытных. Ему, как и Рейнхарту, повсюду мерещились шпионы. У него пропали списки с именами и адресами всех пациентов, бывших и будущих, со всеми их личными делами, лечением, течением заболевания; состав базовых молекул в секретных микстурах; все расчетные таблицы; дозировки и противопоказания. Тридцать лет научных поисков и экспериментов, заметки, ссылки — исчезло все. Он на грани помешательства. Он глотает лекарств в три раза больше, чем все его пациенты блокгауза, вместе взятые, дни и ночи торчит в полицейском участке, надеясь, что кто-нибудь отыщет его компьютер. Все столбы в городе он обклеил объявлениями, обещая вознаграждение всякому нашедшему. Покупает время в местном радиоэфире и каждый час в течение минуты хнычет в микрофон. Может быть, человек этого и не заслуживает, но мы пользуемся ситуацией, чтобы развлекаться. Как только у Виктора выпадает свободная минута, он катает нас на своей машине, мы теперь в городе короли. Рейнхарта узнают повсюду, где он только появляется. На террасах кафе все его приветствуют, аплодируют, девицы подбегают обнять. Вообще-то местные жители плевать хотели на знаменитостей, но здесь особый случай. Сразу видно, что его любят, любят и за песни, разумеется, но также любят его самого, и это ему особенно приятно. Все явились на фестиваль разглядывать зулусов Розона, но в основном ради буфета. Он очень хорошо умеет устраивать такие вещи.

После спектакля в этом весьма популярном месте оказывается весь Монреаль, туда являются не столько ради ужина, сколько ради того, чтобы покрасоваться. Мы вообще не употребляем алкоголь, даже ни капли шампанского, хотя оно течет рекой. Иногда мы отправляемся в итальянские рестораны, где Рейнхарт заказывает макароны, что же касается меня, то я не прикоснусь к ним до конца дней своих. Мы таскаемся по барам, по пивным, но только не в чайнатаун. Когда однажды я заговорил о китайском квартале, Виктор уклончиво ответил: «Там машина не пройдет, улицы слишком узкие».

Наверняка его папаша понарасказал невесть что о наших приключениях, а поскольку Виктор тоже не желает закончить бездомным бродягой в сквере Вижер, он раз и навсегда вычеркнул из своего списка развлечений все, что есть азиатского. Мы больше не торопимся вернуться на авеню Шербрук к половине двенадцатого, мы возвращаемся, когда хотим, стучим в дверь, будя всех. Дежурный санитар быстро и молча открывает нам и никогда не жалуется директору. Должно быть, Клоссон торчит в полицейском участке или хнычет на различных радиочастотах.

Как-то раз Виктор оказался занят и приехать за нами не смог. Поскольку у нас нет никакой идеи, чем бы заняться, мой приятель начинает скучать. Внезапно его осеняет, и он решает пригласить к нам одну приятельницу, которая несколько лет назад оказалась «девушкой месяца», снявшись на развороте модного мужского журнала. На ней такое декольте и такое умопомрачительное мини, что, когда она появляется на улице Папино, все машины замедляют ход, хотя обычно они едут на полной скорости. Ее обтягивающая маечка, из которой чуть не вываливаются груди, вызывает огромные заторы перед нашим бункером. Тот, в кого врезались, на чем свет стоит костерит того, кто в него

врезался, остальные водители пользуются задержкой, вылезают из машин и сворачивают себе шеи, чтобы поглазеть на красавицу. В склоку включается вся улица, все хором кричат: «Давайте без полиции!» Перепуганная насмерть Нелли хочет спрятать красотку, она загоняет нас всех в ободранный коридор, несмотря на то что посторонним жилые помещения посещать запрещено. Решив переодеть девицу в медсестру и дожидаться ночи, пока ее можно будет посадить в такси, она размещает всех в общей гостиной как раз в тот момент, когда туда вваливается банда жертв групповой терапии, как раз настало время ужина. Если не считать ее самой, санитарки-верзилы и той, ощипанной, присутствующие не видели женщин уже несколько недель. Они словно с цепи сорвались, метут пол, опустошают пепельницы, перебивают всю посуду, достают печенье и яблоки из холодильника. Марк приносит из своей комнаты пакет лимонада, который тщательно прятал под кроватью. Даже Марио отлипает от своего телевизора и присоединяется к нам. Он объясняет красавице, что когда-то у него был ночной клуб и шикарная машина. Атмосфера праздничная, все и думать забыли про Нелли, которая рвет на себе волосы в дежурной комнате, висит на телефоне и призывая на помощь. Никто не притронулся к жирной курице, уже давно застывшей в своем неаппетитном соусе. Когда ужин кончился и наступило время фильма, наши чокнутые плевать на него хотели, они отказываются отправляться на ночной сеанс, они хотят остаться здесь. Врачи сердятся, надрываются, надсаживают глотку. Делать нечего, сюда заявляется сам Жан, но и это бесполезно. Маленький хоровод кружится по комнате, скандируя: «Без полиции!», население неуправляемо, полная анархия. Клоссона это доканывает окончательно, он и так слишком слаб, а

когда узнает еще и это, сам впадает в депрессию. Врачи принимают решение его госпитализировать.

Поскольку он не может проходить курс лечения в собственном заведении, это уж было бы чересчур, и потом, здесь слишком грязно, да и жратва отвратительная, его отправляют в клинику с кондиционерами, с мягким, рассеянным светом, хорошенькими санитарками, почти обнаженными под своими полупрозрачными халатиками, в общем, в нормальную клинику. Чтобы отомстить, Нелли закладывает нас Тине, которая, разъярившись из-за той девицы и наших эскапад в городе, в тот же вечер добывает обратный билет и прямо завтра летит в отпуск во Вьетнам. Мы получаем письмо от доктора, который медленно оправляется от болезни в своей мягкой постельке, напичканный, как гуси Сарлата,^[40] только не орехами, а нейролептиками. Он обвиняет нас во всем: в краже его компьютера и мятеже в бункере. Он упрекает нас также в провале сеансов групповой психотерапии, в том, что он навсегда потерял свой авторитет у персонала. В заключение он заявляет, что мы изгнаны и внесенные нами средства обратно возвращены не будут. Мы собираем чемоданы. Рейнхарту совершенно не хочется тащиться одному в Париж, во Вьетнам его не пригласили, так что какое-то время он пробудет у Розона, а потом, в конце августа, поедет в Тоскану. Но я-то теперь вполне могу вернуться домой, больше никаких факсов, никакого шантажа, никаких певцов, которых нужно спасать при кораблекрушениях. Мне легко удастся получить билет на Руасси в том же самолете, что и Тине. Мест сколько угодно: сегодня тринадцатое, да еще и пятница. Опять приходится побеспокоить Виктора, но это уж в последний раз. Я доставляю своего приятеля — и в путь, следующая остановка Дорваль, переименованная

в Трюдо. Я присоединяюсь к Тине, которая корчит мне рожу среди чемоданов и эскалаторов. Самолет подают вовремя, мы усаживаемся бок о бок в салоне бизнес-класса. Журналы и подносы, апельсиновый сок или шампанское. Она выбирает шампанское, я беру апельсиновый сок. Мы пристегиваемся, семьсот сорок седьмой катится по взлетной полосе, я вижу, как удаляются мелькающие огни аэропорта, неоновые буквы складываются в слово М-О-Н-Р-Е-А-Л-Ь и постепенно остаются позади. Наконец мы отрываемся от земли, и я уже было поверил, что больше не вернусь сюда никогда. Вдруг слышится громкий хлопок — это только что взорвался один из реакторов. В самолете паника, все вопят, командир корабля налегает на тормоза, мы останавливаемся в траве на конце взлетной полосы, мы почти докатились до Гаспези. В приступе паранойи я начинаю думать, что это сработало проклятие, наложенное Клоссоном, оккультные силы Центра, колдовство вуду. Наверное, в каком-нибудь подвале Шербрука они проткнули булавкой восковую фигурку Джумбо. Нас волочет какой-то тягач, мы тащимся в обратном направлении по взлетной полосе до самого начала, Ъ-Л-А-Е-Р-Н-О-М, мне никогда не удастся выбраться из этой страны.

Нам говорят, что самолет будет готов к завтрашнему дню, что они приволокут новый реактор, прикрепленный к крылу другого крупного носителя. Тина возвращается на такси в город, а я остаюсь в Хилтоне в аэропорту. Я категорически отказываюсь сделать хотя бы шаг в обратном направлении. Окрестности взлетной полосы — это уже начало дороги назад. Стюардессы не могут или просто не успевают вернуться в город, но, поскольку они спали весь вечер, чтобы выдержать шесть с половиной часов полета обратно, они совсем не хотят спать. Когда все пассажиры покинули самолет и разместились в

близлежащих гостиницах, они собираются в баре холла Хилтона, где устроился и я со своими орешками. Все они в гражданском, и большинство из них распустили волосы, так что весь бар похож на довоенную рекламу шампуней Роха. Официанты в пурпурного цвета куртках лавируют с подносами. Апельсиновый сок и шампанское предлагаются всем присутствующим в качестве, так сказать, компенсации за задержку. Все они берут себе шампанское, только я по привычке хватаю апельсиновый сок. Через какое-то время, расхрабрившаяся от пьянящих пузырьков углекислого газа, одна из стюардесс доверчиво шепчет мне, что, если бы тормозить начали секундой позже, все бы дружно рухнуло в воды Сен-Лоран.^[41] Запоздалый ужас. Я начинаю дрожать, представляю, как за моим иллюминатором проплывают рыбы, лох-несское чудовище и наши рыбки scrapets-soleil. Она предлагает тост за командира корабля, потом за второго пилота, потом за авиакомпанию, которой достало ума их нанять. Я чокаюсь со всеми своим слишком толстым стаканом. Если бы я выбрал бокал, выглядел бы сейчас не так глупо.

На следующий день самолет опять отрывается от земли, на этот раз окончательно. Когда аппарат вздымается носом вверх, мне кажется, что это я один скрещиваю пальцы, но, украдкой взглянув вокруг, обнаруживаю, что этот жест повторили все пассажиры нашего отсека, за исключением какого-то забавного типа, который просто осенил себя крестом. И тогда я узнаю старого сумасшедшего психиатра из парижского филиала, который продает свои брошюры за двести тридцать пять долларов. Моя вчерашняя стюардесса, проходя по салону, улыбается, приветствуя меня. Это хороший признак, значит, самолет и вправду отремонтировали. Тина по-прежнему на меня дует,

она попросила, чтобы ее пересадили на другое место. Теперь она сидит на ряд впереди, рядом с приятельницей, которую случайно встретила в аэропорту. Я невольно слышу, как она рассказывает, что видела Рейнхарта вчера на фестивале, он опять стал таскаться по барам, пьет свой пастис. Все, хватит, она опускает руки, она все перепробовала, теперь она его бросает. Я не чувствую вины. Если я ничего не сделал для того, чтобы он прошел курс лечения, я также не сделал ничего, чтобы помешать ему лечиться. Просто я во все это не верил. Напрасная трата времени. Певцы, которые решают посвятить себя сольной карьере, — неисправимые индивидуалисты, они не могут вписаться в группы, во всяком случае, на длительное время. А вся система Центра основана именно на этом, на принципах коллективной работы. Так что для него, как и для меня, вся эта затея была заранее обречена.

Тем не менее я с минуты на минуту жду, когда нам объявят, что существует некая проблема и придется вернуться в точку отправления. Я в состоянии полнейшего истощения, с ужасом прислушиваюсь к малейшему шороху микрофона, вздрагиваю, услышав звонок в кабине пилотов, внимательно наблюдаю за стюардом и стараюсь догадаться по его лицу, нет ли каких неприятных обстоятельств. Через три часа восемнадцать минут после взлета, когда маленький самолетик, смутно обозначенный на мониторе, пролетает наконец над Исландией так называемую точку невозвращения, я с облегчением перевожу дух. Мне удалось покинуть Монреаль, улицу Папино, бункер и доктора Клоссона, неоновые лампы Деррика и разноцветные макаронные изделия без масла и сыра. Стюардесса предлагает меню, есть мясо и рыба, нужно еще выбрать. Всегда нужно выбирать: вульгарные шлюшки или благовоспитанные барышни из хороших

семей, специалистки по иглотерапии или владелицы баров. Можно пожелать двух сразу, и это даже будет не слишком непорядочно, не слишком подло. Быть «Роллинг стоунз», не отрицая битлов. Мне осточертело выбирать! Так что в следующий раз, когда пройдет стюардесса, катя свою тележку, я возьму и стакан апельсинового сока, и бокал шампанского, попытаюсь, несмотря ни на что, отыскать это хрупкое равновесие, которое таится где-то между хаосом, обозначенным понятием «слишком», и тоской того, что «слишком мало». Ниже вулкана, выше Амальфи. И тем хуже, если меня опять тянет в разные стороны и раздирает, как несчастного дьявола, от светлого пива до «Liebfraumilch», от Сент-Анн до Шербрука, от килевой качки до бортовой. Эти морские термины, немного затасканные и опошленные, можно перевести так же, как «рок-н-ролл», единственное, что белые и черные американцы однажды научились делать вместе, за исключением метисов, разумеется.

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Примечания

1

Маракас — южноамериканский музыкальный инструмент. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

2

Гаме — сорт винограда. Макон — сорт красного вина. Бернар Димей (1931-1981) — парижский поэт, бард.

3

«Old Blue Eyes» — песня Фрэнка Синатры.

4

Клод Нугаро (р. 1929) — французский поэт, композитор, автор-исполнитель. Антуан Блонден (1922-1991) — французский журналист и хроникер. Чемпион Джек (1910-1992) — американский пианист и певец, исполнитель блюза. Боди Лапуэнт (1922-1972) — французский певец, поэт, актер.

5

Король Пикрохол — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

6

Ипанема — пляжи Бразилии, неподалеку от Рио-де-Жанейро. Антонио Карлос Жобим (1927) — бразильский и американский актер и режиссер, автор известной песни «Girl from Ipanema».

Джон Уэйн (1907-1979) — американский киноактер и режиссер. Гэри Купер (1901-1961) — американский киноактер.

8

Пантен — парижский квартал.

Феликс Леклерк (1914-1988) — квебекский писатель. Ла Болдюк (Мадам Эдуар Болдюк, 1894-1941) — канадская фольклорная певица. Мария Шапделен — героиня романа канадского писателя Луи Эмона, вышедшего в Монреале в 1916 году.

10

Blanche (*фр. арго*) — героин.

11

«Плейель» — рояль знаменитой фирмы.

12

Бульвар назван в честь барона Ги Карлтона Дорчестера (1724-1808), британского генерала, правителя Квебека. Подписывал Акт о признании особого статуса Квебека (1774).

«Строберри филд» — сиротский приют Армии спасения в Ливерпуле, которому посвящена песня «Битлз». Дакота-билдинг — дом в Нью-Йорке, в котором жил и возле которого был убит Джон Леннон.

Жан-Поль Риопель (1923–2002) — квебекский художник, скульптор, гравёр.

15

Китайское блюдо (провинции Кантон), вид равиоли с различными начинками, готовится на пару.

Стан Гец (Стенли Гейецки, 1927-1991) — американский джазист, саксофон-тенор.

Тутс Тилеман (р. 1922) — американский джазист, виртуоз гармоники.

Эль Жарро (р. 1940) — американский певец и композитор.

Бэби Додс (1898-1959) — знаменитый американский джазист.

Амальфи — курорты в Италии.

Телониус Монк (1917-1982) — знаменитый джазовый пианист и композитор.

Актеры разговорного жанра (*англ.*).

23

Светлое пиво (*англ.*).

Джон Булл (1562–1628) — английский композитор и органист.

Ардеш, Перигор — департаменты во Франции.

Эдди Кокран (1938–1960) — американский певец и композитор, одна из ведущих фигур рок-н-ролла. Джин Винсент (1935–1971) — один из пионеров рок-н-ролла.

Томми Стил (р. 1938) — один из первых британских рокеров.

Карл Перкинс (1932–1998) — рокер, исполнитель баллад в стиле кантри.

Будю — персонаж культового фильма Жана Ренуара «Будю, спасенный из воды» (1932).

30

Известная марка гитар.

Дженис Джоуплин (1943-1970) — «первая леди рока».

«Гибсон» — одна из самых популярных моделей гитары среди музыкантов.

Описание вин, в отличие от curriculum vitae, что означает на латыни «жизнеописание».

В Париже на улицах Сен-Жермен, Сен-Сюльпис и Сент-Оноре расположены крупные универмаги, например галерея Лафайет.

Джерри Ли Льюис (р. 1935) — американский певец рок-н-ролла, пианист; его называли гением ураганного фортепьянного рок-н-ролла.

36

Пеммикан — концентрат оленьего мяса.

Поль-Эмиль Виктор (1907-2007) — французский исследователь полярных районов.

Пожизненно (*лат.*).

Джексон Поллок (1912-1956) — американский живописец. В 1940-х годах выступал как глава абстрактного импрессионизма — разновидности абстрактного искусства, пропагандировавшей интуитивное, не контролируемое разумом творчество. Покрывал большие полотна узором из красочных пятен (dripping — влажные краски разбрызгиваются на лежащее на земле полотно).

Сарлат — город в департаменте Дордонь (Перигор), одно из мест производства знаменитой фуа-гра — гусиной печени, для чего гусей откармливают грецкими орехами.

Сен-Лоран — река в Северной Америке, протекает на границе США и Канады, а также в Квебеке.